



Жан-Поль

ГРУБИЯНСКИЕ ГОДЫ:
БИОГРАФИЯ

Том I

Жан-Поль

**Грубиянские годы:
биография. Том I**

«Отто Райхль»

1804-1805

УДК 82-3
ББК 84(4)

Жан-Поль

Грубиянские годы: биография. Том I / Жан-Поль — «Отто Райхль», 1804-1805

ISBN 978-3-87667-445-2

Жан-Поль Рихтер (1763–1825), современник И. В. Гёте и признанный классик немецкой литературы, заново открытый в XX веке, рассматривал «Грубиянские годы» «как свое лучшее сочинение, в котором, собственно, и живет: там, мол, для него всё сокровенно и комфортно, как дружественная комната, уютная софа и хорошо знакомое радостное сообщество». Жан-Поль говорил, что персонажи романа, братья-близнецы Вальт и Вульт, – «не что иное, как две противостоящие друг другу, но все же родственные персоны, из соединения коих и состоит он». Жан-Поль влиял и продолжает влиять на творчество современных немецкоязычных писателей (например, Арно Шмидта, который многому научился у него, Райнхарда Йиргля, швейцарца Петера Бикселя). По мнению Женеьевы Эспань, специалиста по творчеству Жан-Поля, этого писателя нельзя отнести ни к одному из господствующих направлений того времени: ни к позднему Просвещению, ни к Веймарской классике, ни к романтизму. В любом случае не вызывает сомнений близость творчества Жан-Поля к литературному модерну». Настоящее издание снабжено обширными комментариями, базирующимися на немецких академических изданиях, но в большой мере дополненными переводчиком. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 82-3
ББК 84(4)

ISBN 978-3-87667-445-2

© Жан-Поль, 1804-1805

© Отто Райхль, 1804-1805

Содержание

Первая книжечка	7
№ 1. Свинцовый блеск	7
№ 2. Кошачье серебро из Тюрингии	15
№ 3. Terra Miraculosa Saxoniae	18
№ 4. Кость мамонта из Астрахани	23
№ 5. Фогтландский мрамор с прожилками бледно-мышинного цвета	26
№ 6. Медный никель	31
№ 7. Фиалковый камень	34
№ 8. Кобальтовые цветы	39
№ 9. Серный цвет	44
№ 10. Зловонное дерево	46
№ 11. Желтинник	49
№ 12. Ложная винтовая лестница	53
№ 13. Берлинский мрамор с блестящими пятнами	59
№ 14. Модель акушерского кресла	63
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Жан-Поль

Грубиянские годы: биография. Том I

Jean Paul
FLEGELJAHRE
Eine Biographie

Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой

От переводчика

Ich danke der Berlin Russisch-Gruppe, den Teilnehmern der Deutsch-Russischen Übersetzerwerkstatt in Krasnoyarsk sowie persönlich Gabriele Leupold, Christiane Korner und Kirill Blaschkov für ihre wertvolle Hilfe.

Я благодарю «Берлинскую русскую группу», участников Немецко-русской переводческой мастерской в Красноярске, а также лично Габриэле Лойпольд, Кристиане Кернер и Кирилла Блажкова за их ценную помощь.

© **Маттиас Дрегер, Издательство «Райхль», 2017**

Первая книжечка

№ 1. Свинцовый блеск Завещание. – Слезный дом

Никто не припомнит, чтобы с тех пор, как Хаслау стал резиденцией, там ждали чего-то – за исключением рождения наследного принца – с таким нетерпением, с каким теперь ожидали обнаружения ван-дер-кабелевского завещания. Ван дер Кабель мог бы зваться Крёзом из Хаслау, а его жизнь – нумизматической забавой, или промывкой золота под золотым дождем, или как-то иначе, по желанию остроумцев. Семеро еще здравствующих дальних родственников семерых уже умерших дальних родственников Кабеля хотя и питали еще некоторую надежду на то, что их упомянули в завещании, поскольку наш Крёз поклялся о них не забыть; однако надежды оставались блеклыми, ибо никто ему особо не верил: ведь он не только вел свои хозяйственные дела уныло-нравственно и бескорыстно – а в сфере нравственности семеро его родственников были еще новичками, – но и с самими родственниками обращался настолько насмешливо, с сердцем, столь переполненным всяческими выходками и ловушками, что полагаться на него не стоило. Сияющая улыбка до ушей, оттопыренные губы, а также ехидный фальцет ослабляли то приятное впечатление, которое производили благородной лепки лицо и большие ладони, из которых каждодневно сыпались и новогодние подарки, и бенефисные комедии, и чаевые; а потому наши перелетные птицы считали Кабеля – это живое рябиновое дерево, на котором они и питались, и гнездились, – замаскированной птичьей ловушкой и не видели зримых ягод за незримыми волосяными петлями.

В промежутке между двумя апоплексическими ударами ван дер Кабель составил завещание и передал его в магистрат. Но даже на смертном одре, вручая семерым предполагаемым наследникам сохранную квитанцию, он сказал прежним тоном: он, мол, не хочет надеяться, что этот знак его прощания с жизнью огорчит достойных мужей, которых ему гораздо приятнее представлять себе как смеющихся наследников, чем как плачущих; и только один из присутствующих, холодный насмешник, полицейский инспектор Харпрехт, ответил насмешнику теплому: их совокупная реакция на такую потерю не будет зависеть от их воли.

В конце концов семеро наследников со своей сохранной квитанцией явились в ратушу в таком составе: член церковного совета Гланц, вышеупомянутый полицейский инспектор, придворный торговый агент Нойпетер, придворный фискал Кноль, книготорговец Пасфогель, воскресный проповедник Флакс и некий Флитте из Эльзаса. Они потребовали от магистрата предоставить им написанное покойным Кабелем заявление и вскрыть завещание как положено и подобающим случаю образом. Главным душеприказчиком был сам полномочный бургомистр, его помощниками – остальные члены городского совета. Заявление и завещание тотчас принесли из канцелярии ратуши в ратушную залу – и показали, пустив по кругу, всем господам членам городского совета и наследникам, чтобы они осмотрели оттиск городской печати на конверте; после чего регистрационную запись, сделанную на заявлении городским писцом, зачитали вслух семи наследникам, дабы те убедились, что покойный в самом деле подал заявление в магистрат, то бишь доверил эту бумагу *scrinio rei publicae*, и что в день подачи заявления он еще был в здравом уме; наконец семь печатей, коими покойный самолично запечатал конверт, были проверены и признаны целыми. Теперь – после того как городской писец снова сделал обо всем этом краткую регистрационную запись – завещание с божьей помощью вскрыли, и бургомистр зачитал нижеследующее:

«Я, ван дер Кабель, составляю сие завещание 7 мая 179* года, здесь, в моем доме в Хаслау, на Собачьей улице, обходясь без многих миллионов слов, хотя я был одновременно немецким нотариусом и голландским священником. Но, полагаю, я еще чувствую себя до такой степени как дома в нотариальном искусстве, что сумею выступить в качестве грамотного составителя завещания и завещателя.

Завещатели обычно приводят трогательные причины, побудившие их составить такой документ. В моем случае это, как обычно, предстоящая мне блаженная кончина и мое наследство, коего ожидают столь многие. Говорить о похоронах и тому подобном – значит расслабиться и проявить глупость. А вот то, в качестве чего я останусь, пусть вечное солнце наверху поместит в одну из своих зеленых весен, а не в мрачную зиму.

Относительно милосердных пожертвований, о которых обязаны спрашивать нотариусы, я распоряжаюсь таким образом, что для трех тысяч здешних городских бедняков всех сословий выделяю такое же число легких гульденов, в благодарность за что они в будущие годы, в годовщину моей смерти, должны на общинном лугу – если там не будет стоять палаточный лагерь – разбивать и населять свой лагерь, радостно проедать эти деньги, после чего смогут еще и облачиться в палаточную парусину. Также я завещаю всем школьным учителям нашего княжества, каждому, по одному августдору, а здешним евреям – мое место в придворной церкви. Поскольку я хочу разбить свое завещание на клаузулы, то эта пусть считается первой.

2-я клаузула

Обычно назначение наследников и лишение права наследования числятся среди важнейших частей завещания. Имея это в виду, я все же г-ну члену церковного совета *Гланицу*, г-ну придворному фискалу *Кноллю*, г-ну придворному торговому агенту Петеру *Нойпетеру*, г-ну полицейскому инспектору *Харпрехту*, г-ну воскресному проповеднику *Флаксу* и г-ну придворному книготорговцу *Пасфогелю*, а также господину *Флитте* ничего из своей руки не завещаю – и не только потому, что они, как весьма отдаленные родственники, не имеют права на *quarta Trebellianica* или потому что, в своем большинстве, они уже сами могут оставить достаточно большое наследство, но по той причине, что я из их собственных уст слышал, что они любят мою скромную персону больше, нежели мое большое наследство; при сей любви я их и оставляю, хотя из нее мало что можно извлечь...»

Тут семь господ с вытянувшимися физиономиями разом встрепенулись, как сони-полчки после семимесячной спячки. Член церковного совета, человек еще молодой, но прославившийся по всей Германии устными и печатными проповедями, больше всех обиделся на такой укол – у эльзасца Флитте прямо в зале, где они сидели, вырвалось похожее на щелчок проклятие – у Флакса, воскресного проповедника, отвалилась челюсть – и вообще членам городского совета довелось услышать много произнесенных вполголоса характеристик покойного Кабеля, таких как «подлец», «шут», «нехристь» и т. и. Однако полномочный бургомистр Кунольд махнул рукой, придворный фискал и книготорговец опять привели в боевую готовность пружины своих лиц-мышеловок, после чего бургомистр продолжил чтение документа, хоть и не без труда принуждая себя к серьезности:

«3-я клаузула

Сказанное не относится к принадлежащему мне дому на Собачьей улице, который, в соответствии с этой моей третьей клаузулой, совершенно в таком виде, как он выглядит сейчас, достанется и будет принадлежать тому из моих семи вышепоименованных г-д родственников, кто за полчаса (отсчитываемые с момента прочтения этой клаузулы), раньше, чем остальные шестеро соперников, сумеет пролить одну или две слезинки обо мне, его отошедшем в мир иной дяде, – в присутствии уважаемых членов досточтимого магистрата, который это запро-

токолирует. Бude же влага так и не появится, дом тоже перейдет к универсальному наследнику, которого я прямо сейчас назову».

Тут бургомистр закрыл завещание, отметил, что такое условие хотя и необычно, однако не противоречит закону, так что теперь суд должен присудить дом первому, кто заплачет, положил на стол свои часы, которые показывали 11/4 утра, и спокойно опустил в кресло, дабы в качестве исполнителя завещания увидеть, как и все члены суда, кто же первым прольет требуемые слезы по завещателю.

Чтобы с тех пор, как существует Земля, на ней хоть раз собирался такой же печальный и причудливый конгресс, как этот – конгресс семи, можно сказать, объединившихся для плача засушливых провинций, – такого ни один непредвзятый человек не решился бы утверждать. Поначалу драгоценные минуты просто растранижировались на смущение, удивление и усмешки; члены конгресса слишком неожиданно увидели себя поставленными в положение собаки, которой в момент яростнейшего бега враг вдруг крикнул: «Стоять!», и вот она поднимается на задние лапы, скалит зубы, ждет... – слишком быстро заставили их перейти от проклятий в адрес покойного к его оплакиванию.

О подлинном умилении – это видел каждый – нечего было и думать: при такой-то галопирующей спешке откуда же взяться проливному дождю, экстремному водосвятию для глаз? Но за остающиеся двадцать шесть минут что-то могло произойти.

Коммерсант Нойпетер поинтересовался, не проклятая ли это сделка и не дурацкая ли шутка для разумного человека, – но сам ничего разумного не придумал; однако при мысли, что за *одну* слезу в его кошель могла бы влиться стоимость целого дома, он почувствовал странное раздражение слезных желез и выглядел теперь как больной жаворонок, которому собираются поставить клистир, воспользовавшись булавкой со смазанной подсолнечным маслом головкой – заменителем головки в данном случае и был дом.

Придворный фискал Кноль скривил лицо, как бедный ремесленник, которого подмастерье субботним вечером бреет при свете сапожничьей лампы: он был ужасно рассержен таким неправильным употреблением понятия «завещание» и уже близок к тому, чтобы пролить слезы ярости.

Хитроумный книготорговец Пасфогель заставил себя успокоиться относительно ситуации как таковой и начал спешно припоминать все трогательные истории, которые у него имелись: отчасти в издательстве, а отчасти и в лавке, на комиссии; он надеялся, что таким образом какую-нибудь кашу да сварит; да только при этом выглядел как собака, которая медленно слизывает рвотное средство, намазанное ей на нос парижским собачьим доктором Эме: то есть для достижения желаемого эффекта тут требовалось некоторое время.

Флите из Эльзаса чуть ли не пританцовывал, со смехом разглядывая всю эту серьезную компанию, и поклялся, что хоть он не самый богатый из них, но даже за целый Страсбург и Эльзас в придачу не мог бы заплакать, когда идет такая потеха...

В конце концов полицейский инспектор Харпрехт, внушительно взглянув на него, заявил: мол, ежели мсье надеется, что посредством смеха выжмет из всем известных желез – а также из мейбомиевых желез, из слезного мясца и тому подобного – желанные капли и преступным образом покроется ими, уподобившись запотевшему окну, то он, Харпрехт, хочет его предостеречь: он в результате выиграет так же мало, как если бы стал сморкаться, желая извлечь из этого выгоду; ведь, как известно, через носослезный проток глазной влаги вытекает больше, чем ее проливается в любой церкви во время надгробной проповеди. – Однако эльзасец заверил присутствующих, что смеется лишь ради удовольствия, а не с серьезными намерениями.

Сам инспектор, поскольку славился обезвоженным сердцем, попытался воздействовать на свои глаза таким образом, что широко их раскрыл и очень пристально уставился в одну точку.

Воскресный проповедник Флакс походил на нищего еврея, взгромоздившегося на лошадь, которая вдруг понесла: своим сердцем, которое из-за домашних и церковных неурядиц уже окуталось гнетущими тучами, он легко, как солнце перед надвигающейся грозой, притянул бы вверх необходимую влагу, если бы ему не мешал сам этот подплывающий, словно на плоту, дом – как слишком радостное зрелище и как запруда.

Член церковного совета, который знал свою натуру по новогодним и надгробным проповедям и хорошо понимал, что размягчает прежде всего себя, когда обращает размягчительные речи к другим, поднялся на ноги (потому что видел, что и он, и другие словно зависли на веревке для сушки белья) и с достоинством произнес: мол, каждый, кто читал его работы, наверняка знает, что в груди его бьется сердце, предпочитающее скорее подавлять в себе такие священные символы, как слезы, дабы ничего у ближних не выманить, нежели специально эти слезы провоцировать ради каких-то второстепенных намерений. «Это сердце уже изошло слезами, но тайно, потому что Кабель был моим другом», – сказал он и огляделся вокруг.

Тут он с удовлетворением отметил, что все по-прежнему сидят сухие, как пробки: сейчас крокодилы, слоны, олени, ведьмы и даже репейники могли бы заплакать с большей легкостью, чем господа наследники, которых Гланц растревожил и настроил на злобный лад. Только для Флакса сказанное оказалось тайным стимулом: он спешно стал представлять себе благодеяния Кабеля, бедные платья своих седовласых прихожанок на утренней службе, Лазаря с его собаками и собственный длинный гроб, затем лица кое-каких людей, страдания Вертера, малое поле битвы и себя самого: как ему приходится в молодые годы мучиться и бороться из-за какой-то статьи в завещании; оставалось еще каких-то три раза нажать на рычаг водокачки, и он получит и требуемую воду, и дом.

– О Кабель, дорогой Кабель! – говорил Гланц, уже почти плача от радости по поводу подступающих к глазам траурных слез. – Только когда рядом с твоей грудью, полной любви и покрытой землей, и моя грудь, в свою очередь, подвергнется тле...

– Мне кажется, почтеннейшие господа, – Флакс печально поднялся на ноги и, заливаясь слезами, огляделся вокруг, – мне кажется, что я плачу... – Затем он снова уселся и продолжал плакать, теперь уже с большим удовольствием; наконец слезы высохли; на глазах у всего собрания он выудил награду-дом, победив своего соперника Гланца, который теперь был очень недоволен приложенными им усилиями, потому что без всякой пользы собственными речами наполовину отбил себе аппетит. Факт умиления Флакса был занесен в протокол, и дом на Собачьей улице навсегда перешел к нему. Бургомистр от всего сердца присудил его этому бедолаге: ведь в княжестве Хаслау впервые случилось так, что слезы школьного и церковного наставника не стали, как слезы Гелиад, легкими янтарями, заключающими в себе насекомых, но, подобно слезам богини Фрейи, превратились в настоящее золото. Гланц сердечно поздравил Флакса и радостно напомнил ему, что, возможно, сам и поспособствовал его умилению. Остальные, поскольку свернули на сухой путь, зримым образом отклонились от влажного пути Флакса; но все равно не покинули залу, желая услышать оставшуюся часть завещания.

И вот чтение продолжилось.

«4-я клаузула

С самого начала к потенциальному полному наследнику моих активов – а к таковым относятся мой сад перед Овечьими воротами, принадлежащий мне лесок на горе, и 11 000 геордоров, вложенных в берлинскую лавку заморских товаров, и, наконец, оба барщинных крестьянина в деревушке Эльтерляйн с соответствующими земельными участками – я предъявлял самые высокие требования: много нищеты телесной и обилие духовного богатства. Наконец, уже в последний период моей болезни, отыскал я такого субъекта в Эльтерляйне. Я и подумать не мог, что в одном из десятков карманноигрушечных княжеств обнаружится беднейший из бедных, взаправду добрый, сердечно-радостный человек, который, может быть, из всех

тех, кто когда-либо любил людей, любит их сильнее всего. Он однажды сказал мне несколько таких слов и дважды без свидетелей поступил так, что теперь я полагаюсь на этого юношу – можно сказать, навечно. Более того, я знаю, что перспектива получения полного наследства даже весьма опечалила бы его, не имей он бедных родителей. Хоть он и является в настоящее время студентом-юристом, но остается ребячливым, лишенным фальши, чистым в помыслах, наивным и нежным, подлинно благочестивым юношей наподобие тех, что жили в древние времена патриархов, в тридцать раз более умным, чем сам он о себе думает. В нем только то плохо, что, во-первых, он поэт, то бишь существо слишком уж *растяжимое*; и, во-вторых – как многие известные мне государства, когда речь идет о нравственном воспитании народа, – охотно закладывает в ствол пулю прежде пороха, а также передвигает часовую стрелку, чтобы ускорить ход минутной. Трудно поверить, что он когда-нибудь научится ставить мышеловки для студентов; а что дорожный кофр, ручки которого перережет вор, навсегда исчезнет из рук моего знакомого, видно из того, что он вообще вряд ли вспомнит, какие вещи в этом кофре лежали и как он выглядел.

Этот универсальный наследник – сын сельского шультгейса в Эльтерляйне, по имени *Готвальт Петер Харниш*: очень деликатный, светловолосый, милый паренек...»

* * *

Семь презумптивных наследников хотели было задать вопросы и уже готовы были выйти из себя; но им пришлось слушать дальше.

«5-я клаузула

Однако прежде, чем он станет наследником, пусть раскусит трудные орешки. Как известно, сам я прежде получил это ожидающее его наследство от моего незабвенного приемного отца ван дер Кабеля – в Брёке, в Ватерланде; и за это почти ничего не мог ему предложить, кроме двух жалких слов: Фридрих Рихтер, – то есть моего имени. Харниш, опять-таки, их унаследует, если, как объяснено дальше, снова воспроизведет и проживет мою жизнь.

6-я клаузула

Пусть мой легкий поэтический визитер почувствует себя весело и легко, когда услышит, что я лишь по одной причине – потому что сам всё это пережил, но за более длительный срок, – требую и распоряжаюсь, чтобы он сделал нижепоименованное, и ничего больше:

- а) на протяжении одного дня побыл настройщиком рояля – далее
- б) на протяжении одного месяца поухаживал за моим садиком, в качестве главного садовника, – далее
- в) четверть года проработал нотариусом – далее
- г) пробыл у какого-нибудь охотника так долго, пока не прикончит зайца – неважно, уйдет ли на это 2 часа или 2 года, —
- д) он должен, в качестве корректора, добросовестно просмотреть 12 листов -
- е) он должен провести неделю на книжной ярмарке с господином Пасфогелем, если, конечно, тот этого пожелает, —
- ж) он должен прожить по неделе у каждого из господ потенциальных наследников (если наследник не будет возражать) и добросовестно исполнять все желания своего временного квартирного хозяина, если они согласуются с честью, —
- з) он должен на протяжении нескольких недель учительствовать в сельской школе – и наконец
- и) должен стать пастором; тогда, вместе с назначением на должность, он получит наследство. – Это и есть его *девять* наследственных обязанностей.

7-я клаузула

Веселым, как я сказал в предыдущей клаузуле, покажется ему всё это, тем более что я не отнимаю у него права менять местами мои жизненные роли и, например, сперва отправиться в школу, а уже потом на книжную ярмарку, – только закончить свой путь он должен непременно пасторской должностью; однако, друг Харниш, к завещанию я прилагаю, отдельно для каждой роли, запечатанный регулятивный тариф, именуемый тайной статьей: где в тех случаях, когда ты заряжаешь пулю прежде пороха (например, в нотариальных орудиях), – короче, за те ошибки, которые совершал когда-то я сам, – для тебя предусмотрено наказание либо в виде потери доли наследства, либо в виде отсрочки его выдачи. Будьте же умным, поэт, и помните о Вашем отце, который подобен некоторым дворянам в...ане, чье состояние, правда, заключается, как у русских помещиков, во владении крепостными, но крепостной-то у такого человека один-единственный: он сам. Помните также о вашем странствующем брате, который, возможно, еще прежде чем Вы об этом подумаете, вернется после своих годов странствий к Вашим дверям, одетый лишь в половину сюртука, и скажет: “А нет ли у тебя чего-нибудь из старья для твоего брата? Ты только взгляни на мои башмаки!” – Так что не забывайте о благоразумии, полный наследник!

8-я клаузула

Я обращаю внимание всех господ – от г-на члена церковного совета Гланца вплоть до г-на книготорговца Пасфогеля и Флитте (включительно) – на то, как тяжело Харнишу достанется всё это наследство, даже если оно не будет весомее, чем единственный подшитый здесь с краю лист бумаги, на котором наш поэт бегло изложил свое любимейшее желание, а именно: стать пастором в Швеции. – (Тут господин бургомистр Кунольд спросил, должен ли он зачитать сей документ вслух; но все присутствующие с нетерпением ждали дальнейших клаузул, и потому он продолжил:) – А посему я прошу моих дражайших господ родственников – за что я их отблагодарю, хоть и недостаточно, завещав им здесь, в знак признательности, в равных долях, ежегодные десять процентов от всего капитала, а также право пользования моим недвижимым имуществом, как бы оно ни называлось, до тех пор, пока упомянутый Харниш не сможет вступить в наследство в соответствии с шестой клаузулой, – я прошу их, как христианин христиан, чтобы они, подобно семи мудрецам, строго следили за юным возможным полным наследником и не оставляли незамеченным даже самомалейшего его ложного шага, могущего повлечь за собой отсрочку получения наследства либо потерю доли от такового, – и чтобы каждый такой шаг фиксировали в судебном порядке. Это поможет легкому поэту продвигаться вперед, отшлифует его и соскоблит с него ржавчину. Если это правда, дорогие семь родственников, что вы любили только мою персону, то это проявится таким образом, что вы хорошенько порастрясете образ, созданный по подобию ее (что самому образу пойдет только на пользу), что вы основательно, хотя и по-христиански, помучаете и подурчите его и вообще будете для него приносящим дождь Семеричным созвездием и его Злой семеркой. Чем чаще ему придется по-настоящему раскаиваться, то есть пасовать, тем больше пользы и для него, и для вас.

9-я клаузула

Ежели дьявол так оседлает моего полного наследника, что тот нарушит узы чужого брака, то он потеряет четверть наследства – она тогда перейдет к семерым родственникам; однако он потеряет только шестую часть, ежели соблазнит девицу. – Дни путешествий и пребывание в тюрьме не могут причисляться к времени добывания права на наследство; зато могут – дни пребывания на ложе болезни или на смертном одре.

10-я клаузула

Ежели юный Харниш умрет до достижения им двадцатилетнего возраста, то наследство перейдет к здешним *corporibus piis*. Если же он, как христианский кандидат, пройдет экзамен и выдержит его: то, пока не будет назначен на место, будет получать десять процентов, вместе с прочими господами наследниками, дабы не пришлось ему умереть от голода.

11-я клаузула

Харниш должен принести клятву, равносильную присяге, что ничего не будет брать в долг в счет будущего наследства.

12-я клаузула

Мое последнее желание – хотя и не последняя воля – состоит в том, чтобы, как я некогда принял имя ван дер Кабеля, так же и он при вступлении в наследство принял и носил впредь Рихтерово имя; но выполнение этого условия во многом зависит от его родителей.

13-я клаузула

Если удастся найти и заинтересовать ловкого, к тому же оснащенного для этой цели, даровитого писателя, который вдоволь настрадался в библиотеках: то такому почтенному мужу надо дать поручение – чтобы он, насколько сумеет хорошо, описал историю и период борьбы за наследство моего возможного полного наследника и приемного сына. Это послужит к чести не только его самого, но и завещателя – чье имя будет поминаться на каждой странице. Сей превосходный историк, мне в данный момент еще неизвестный, будет получать от меня, в качестве скромного выражения признательности, за каждую главу по *одному* номеру из моего кабинета художественных и натуральных диковин. Этого человека следует обильно снабжать относящимися к нашему делу записями.

14-я клаузула

Если же Харниш откажется от всего наследства, это будет, как если бы он одновременно нарушил узы брака и оказался во власти смерти; в таком случае с полной силой вступят в действие клаузулы 9-я и 10-я.

15-я клаузула

Для исполнения завещания я назначаю тех высокочтимых персон, коим прежде было доверено *oblatio testamenti*; главным же исполнителем является полномочный бургомистр, господин Кунольд. Только он всегда будет открывать конверт с той из тайных статей регулятивного тарифа, которая относится к очередной, только что выбранной Харнишем *наследственной обязанности*. – В этом тарифе подробнейшим образом определено, какую сумму нужно выделить Харнишу, например, в связи с его вступлением в должность нотариуса – ибо что есть у него самого? – и сколько надо заплатить тому из резервных наследников, который окажется связанным именно с данной *наследственной обязанностью*: например, господину Пасфогелю за неделю, проведенную на книжной ярмарке, или кому-то другому в качестве платы за семидневное проживание гостя. В итоге все останутся довольны.

16-я клаузула

“Улучшенный Фолькман” на странице инфолио 276-й четвертого издания требует, чтобы завещатель оговорил *providentia*, то есть “временные ограничения, а потому я в этой клаузуле распоряжаюсь, что любой из семи резервных наследников или те из них, кто станет в судебном порядке оспаривать мое завещание или попытается добиться его признания ничтожным, во время судебного процесса не будет получать ни геллера из причитающихся ему процентов,

каковые достанутся остальным наследникам либо – если судиться начнут они все – полному наследнику.

17-я и последняя клаузула

Любая воля вправе быть и безумной, и половинчатой, и выраженной через пень-колоду, только последняя воля такого права лишена, но должна, дабы *закруглиться* и во второй, и в третий, и в четвертый раз, то есть представлять собой нечто *концентрическое*, включать в себя, как это принято у юристов, и *clausula salutaris*, и *donatio mortis causa*, и *reservatio ambulatoriae voluntatis*. Так и я хотел бы прибегнуть к этому средству с помощью сказанного выше кратко и немногословно. – Я не намерен более открываться миру, от которого меня близящийся час вскорости скроет.

Во всех прочих случаях – Фр. Рихтер, ныне же – ван дер Кабель».

* * *

На этом чтение завещания закончилось. Все формальности – такие как подпись, печать, и т. д., и т. д. – были, как убедились семеро наследников, правильно соблюдены.

№ 2. Кошачье серебро из Тюрингии

Письмо И. П. Ф. Р. членам городского совета

Автор этой истории был выбран в ее авторы исполнителями завещания и прежде всего превосходным Кунольдом. На такое почетное предложение он дал нижеследующий ответ.

«Р. Р. Обрисовать высокочтимым членам городского совета, то бишь превосходным исполнителям завещания, ту радость, которую я испытал, когда, благодаря им и клаузуле: "... ловкого, к тому же оснащенного для этой цели, даровитого писателя, и т. д.", – я был выбран из 55.000 современных авторов, чтобы стать летописцем истории некоего Харниша; изобразить вам яркими красками мое удовольствие от того, что мне была оказана честь удостоиться таких трудов и сотрудников: для всего этого позавчера, когда я с женой и ребенком и всем скарбом переехал из Мейнингена в Кобург и должен был нагружать и разгружать бесчисленные пожитки, у меня, вполне естественно, времени не хватило. Больше того: едва успел я, проехав через городские ворота, войти в дверь нового дома, как снова вышел и отправился на гору, где множество прекрасных пейзажей соседствуют или располагаются друг за другом. "Сколь же часто, – сказал я себе, добравшись до вершины, – станешь ты в будущем преобразаться на этом Фаворе!"

Вместе с письмом я посылаю членам и т. д. и т. д. городского совета первый номер, под заголовком "Свинцовый блеск", полностью проработанный; однако же прошу превосходных исполнителей завещания иметь в виду, что дальнейшие номера будут оформлены богаче и изысканнее, и я в них смогу показать больше, нежели в первом, где мне почти ничего и не пришлось делать, кроме как переписать сохранившуюся копию завещания. "*Кошачье серебро из Тюрингии*" дошло до меня в полной сохранности; далее последует соответствующая ему глава, которая должна представлять собой копию настоящего письма, составленную для читателей. Название всей работы, не слишком барочное и не слишком затасканное, тоже теперь готово: она будет называться "*Грубиянские годы*".

То бишь машина уже обрела подобающий ей мельничный ход. Если ван-дер-кабелевское собрание художественных и натуральных диковин включает, как я усматриваю из инвентаря, семь тысяч двести три экспоната, или номера, то мы, поскольку покойный хочет получить за каждый экспонат по целой главе, должны подвергнуть эту главу некоторой усадке, ибо иначе получится работа, которая будет пространнее, чем все мои *opera omnia* (включая это), вместе взятые. А ведь в ученом мире считаются допустимыми любые главы: начиная с глав, состоящих из *одного* алфавита, и кончая главами, состоящими из *одной* строчки.

Что же касается работы как таковой, то мастер отдает себя самого в залог высокочтимым членам городского совета, ручаясь, что ее не стыдно будет показать любому коллеге-мастеру, будь то городской мастер, или свободный мастер, или мастер, взятый в цех из милости, – тем более, что я, возможно, сам нахожусь в родстве с покойным ван дер Кабелем, иначе Рихтером. Этот труд – если сказать наперед лишь немного – должен охватить всё, что в библиотеках можно найти лишь в весьма рассредоточенном виде; ибо он должен стать скромным дополнением к Книге Природы, а также пролегоменами к "Книге блаженных" и первым листом в ней.

– Прислуге, мальчикам-подросткам и взрослым девицам, а также поселянам и князьям в ней будут прочитаны *Collegia conduitica*.

– Всё в целом будет читаться как пособие по стилистике.

– В ней будет учтен вкус отдаленнейших, даже и вовсе не имеющих вкуса народов; потомки найдут в ней не больше сведений о себе, чем современники и предшественники.

– Я в ней затрону такие темы, как вакцина, книготорговля и торговля шерстью, авторы, пишущие для журналов, магнетическая метафора Шеллинга, или двойная система, новые

пограничные столбы, утаиваемые при сдаче пфенниги, полевые мыши вкупе с гусеницами еловых листоверток – и Бонапарт: это всё я затрону, правда, лишь мимоходом, как поэт.

– Я выражу свое мнение о веймарском театре, а также о не уступающих ему по величине театре мироздания и театре человеческой жизни.

– Там найдется место и для подлинной шутки, и для подлинной веры, хотя последняя сейчас такая же редкость, как сквернословящий гернгутер или бородатый придворный.

– Отрицательных персонажей, которые, надеюсь, высокочтимыми членами совета будут мне представлены, я постараюсь изобразить добросовестно, хоть и не переходя на личности, без излишней язвительности; ибо черные сердца и черные глаза – что особенно очевидно на примере последних – на самом деле не черные, а лишь карие; полубог и полуживотное очень даже могут иметь одинаковую вторую половину: человеческую, – а коли дело обстоит так, то должен ли бич быть таким же толстым, как кожа, которую он полосует?

– Сухари-рецензенты будут захвачены моей книгой и (с некоторыми оговорками), вспомнив о собственной златой юности и о последующих утратах, растрогаются до слез, как бывает, когда люди выставляют трухлявые реликвии, чтобы пошел дождь.

– О семнадцатом столетии я буду говорить свободно, о восемнадцатом – гуманно, о новейшем же предпочту только думать, зато как очень свободомыслящий человек.

– Тот баран, который зубами вытащил из моих сочинений “Хрестоматию, или Дух Жан-Поля”, из этого тома получит в руки, для экстрагирования, целый том, так что ему даже не придется делать выборку, а достаточно будет переписать всё целиком, снабдив простейшими примечаниями и предисловиями.

– Подобно небезызвестной “Помогающей в бедствиях книжечке”, моя книга тоже станет предлагать рецепты лекарственных средств, советы, характеры, диалоги и истории, но в таком множестве, что ее можно будет подверстать к упомянутой бедственной книжечке в качестве вспомогательной книги: как более содержательное, чем оригинал, извлечение и приложение; ибо каждое чисто описательное сочинение точно так же, путем шлифовки, может быть переделано из *зеркала* в *очки*, как из осколков венецианских зеркал делают настоящие стекла для очков.

– В каждой типографской опечатке должен скрываться какой-то смысл, во всех *errata* – таиться правда.

– С каждым днем моя книжечка будет вскарабкиваться все выше по иерархической лестнице: из библиотек-*читален* она попадет в библиотеки *с выдачей книг на дом*, а оттуда – в библиотеки ратуш, в прекраснейшие супружеские и парадные спальни и вдовьи гнездышки муз —

Но мне легче сдержать обещание, чем дать его. Ибо создан будет труд...

О высокочтимые члены городского совета! Исполнители завещания! Как бы я хотел когда-нибудь, пусть и в старости, увидеть все тома “Грубиянских годов” полностью напечатанными, стоящими вокруг меня в виде высоких, присланных из Тюбингена пачек —

До той же поры остаюсь с совершеннейшим почтением,

ваш высокородн., и т. д. и т. д. и т. д.,

И. П. Ф. Рихтер, советник посольства.

Кобург, 6 июня 1803 года».

Копия письма, предназначенная для читателя, которую я обещал в письме исполнителям завещания, теперь, наверное, не нужна, поскольку читатель только что с этим письмом ознакомился. Ведь и бескорыстные адвокаты в своих расчетных квитанциях указывают только вознаграждение для самого изготовителя квитанции, но после, хотя могли бы продолжать до бесконечности, не предусматривают дополнительного вознаграждения за приписывание такой приписки.

А насчет того, не следовало ли составителю «Грубиянских годов» предпослать столь значимой истории и использовать в ней еще более близких нам – исторически – баранов-вожаков и вожаков собачьей стаи, нежели просто членов одного превосходного городского совета, и кто конкретно из них мог бы стать великолепнейшей собакой и лучшим бараном, – насчет этого мы бы сейчас с превеликим удовольствием удовлетворили любопытство читателя, если бы могли убедиться, что сие действительно полезно для дела, то бишь целесообразно.

№ 3. Terra Miraculosa Saxoniae

Резервные наследники. – Шведский пастор

После прочтения завещания семь наследников неописуемо удивились, и лица их сделались как у семерых мудрецов. Многие вообще ничего не говорили. Но все спрашивали, кто из них знает этого молодого парня, – за исключением придворного фискала Кнолля, которого самого расспрашивали, потому что в Эльтерляйне он был *юстициарием* одного польского генерала. «В этом претенденте на наследство нет ничего особенного, – ответил Кноль. – Однако его отец разыгрывал из себя юриста и задолжал как ему, так и миру...» – Напрасно наследники, жаждущие как совета, так и новостей, обступили неразговорчивого фискала.

Он попросил у суда копию завещания и инвентаря, другие благородные наследники тоже внесли подобающую плату, чтобы для них изготовили копии. Бургомистр объяснил наследникам, что молодого человека и его отца известят о предварительном решении касательно завещания в субботу. Кноль возразил: поскольку послезавтра, то бишь 13-го числа сего месяца, а именно в четверг, он по своим судебным делам едет в Эльтерляйн, он сможет уже тогда уведомить юного Петера Готвальта Харниша о приглашении в город. Это предложение было всеми одобрено.

Теперь член церковного совета Гланц пожелал – на одну короткую читательскую минутку – заглянуть в ту бумаженцию, на которой Харниш будто бы красочно изобразил свое желание получить место пастора в Швеции. Гланцу ее дали. В трех шагах за его спиной встал книготорговец Пасфогель и успел пробежать эту страницу глазами дважды, прежде чем член церковного совета ее перевернул; наконец и все другие наследники столпились за спиной Гланца, так что тот обернулся и сказал, что, может, будет лучше, если он зачитает весь текст вслух:

«Счастье шведского пастора

Так вот, я хочу нарисовать это блаженство большими мазками и без всяких оговорок, имея в виду под пастором себя самого, – чтобы сие описание, ежели по прошествии года я захочу его перечесть, совершенно особенным образом согрело мне душу. Быть пастором это уже само по себе счастье, а уж в Швеции – тем паче. Пастор там наслаждается радостями лета и зимы в чистом виде, без долгих огорчительных интерлюдий: например, в пору поздней весны послезимье сразу сменяется полноценным зрелым предлетьем, бело-красным и отягощенным цветами, так что в летнюю ночь ты можешь получить в свое распоряжение половину Италии, а в зимнюю ночь – другую половину мира.

Но я, пожалуй, начну с зимы, прихватив и Рождественские праздники.

Пастор, который из Германии, из Хаслау, попал в результате назначения в весьма северную приполярную деревушку, радостно встает в семь утра и до половины десятого жжет дающие жиденький свет свечи. В девять часов еще светят звезды, а светлая луна – даже дольше. Однако такое вторжение звездного неба в обычный день доставляет пастору приятные ощущения: потому что он немец – и утро со звездами его удивляет. Я мысленно вижу, как пастор и его прихожане направляются в церковь, освещая свой путь фонарями; это множество огоньков превращает общину в единую семью, а пастора возвращает в его детские годы, в зимние часы и к Рождественской заутрене, когда каждый нес свой огонек. С кафедры пастор обращается к дорогим ему слушателям с фразами, слова которых именно так и прописаны в Библии: мол, перед Господом никакой разум не остается разумным, пред Ним выстаивает лишь добрый нрав. Потом пастор – тайно радуясь возможности с такого близкого расстояния заглянуть в лицо каждому человеку и дать ему, как ребенку, питье и еду – распределяет дары Вечери Господней, и каждое воскресенье сам тоже ими наслаждается, поскольку не может не мечтать о близкой уже *трапезе любви*. Я думаю, что ему это должно быть позволено».

(Тут член церковного совета окинул слушателей вопрошающе-укоризненным взглядом, и Флакс кивнул; он, правда, мало что из прочитанного услышал, поскольку думал только о доставшемся ему доме.)

«Когда потом пастор вместе с прихожанами выходит из церкви, как раз поднимается светлое христианское утреннее солнце и сияет им всем в лицо. Кажется, многие шведские старики по-настоящему молодеют, когда алые отблески зари окрашивают их щеки. Пастор же, глядя на мертвую Матушку-Землю и на погост, где лежат, погребенные, цветы и люди, мог бы сочинить такой полиметр:

“На мертвой матери покоятся мертвые дети в темной тишине. Но в конце концов воссияет вечное солнце, и цветущая мать вновь воспрянет, а потом – и все ее дети”.

Дома жизнь пастора усладят теплый рабочий кабинет и длинная полоска солнечного света на книжном шкафу.

Вторую половину дня он проведет замечательно, поскольку, окруженный целой цветочной клумбой друзей, даже не будет знать, возле которого из них ему задержаться. Если это произойдет в святой праздник Рождества, он еще раз прочитает проповедь – о прекрасных странах Востока или о вечности; в храме к тому времени будет уже совсем сумеречно: только две алтарные свечи отбрасывают удивительные длинные тени по всей церкви; свисающий сверху крестильный ангел, кажется, вот-вот оживет и полетит; снаружи в окна льется свет звезд или луны... а сам пламенный проповедник стоит наверху. В темноте, на своей кафедре, он теперь ни о чем постороннем не тревожится, но громоподобно вещает вниз, из ночи, со слезами и бурями, об иных мирах, и о небесах, и обо всем прочем, что так сильно волнует его сердце и заставляет вздыматься грудь.

Когда же пастор, пламенея, спустится вниз, он, возможно, в четыре утра будет возвращаться домой под уже колышущимся на небе северным сиянием, которое ему наверняка покажется Авророй, перенесенной сюда из вечного южного утра, или зарослями Моисеевых неопалимых купин вокруг трона Господня.

Если это будет какой-то другой день, то приедут гости с безукоризненно воспитанными взрослыми дочерьми; пастор, как принято в большом мире, пообедает с ними на заходе солнца – в два часа пополудни, – а кофе они выпьют уже при свете луны; весь пасторский дом к тому времени превратится в сумеречный волшебный дворец. – Или же он отправится к школьному учителю, который начинает занятия в полдень, и, еще при дневном свете, соберет возле себя всех детей своих духовных чад – как дедушка собирает внуков – и будет радоваться, наставляя их. -

Да даже если ничего этого не будет: он ведь сможет, еще до трех часов пополудни, начать расхаживать по натопленной комнате в теплых сумерках, подсвеченных сильным лунным сиянием, и лакомиться толикой апельсинного сахара, чтобы почувствовать прекрасную Вельнландию с ее садами – и на языке, и прочими органами чувств. Разве не может он, глядя на луну, подумать, что тот же серебряный диск висит сейчас и в Италии, между лавровыми деревьями? Разве не может предположить, что и золотые арфы, и жаворонки, и вся вообще музыка, и звезды, и дети – одни и те же, что в жарких, что в холодных странах? А если в этот момент через деревню проедет почтовый дилижанс, прибывший из Италии, и звуки почтового рожка нарисуют на заледенелом окне его рабочего кабинета цветущие дальние земли; если он возьмет в руку лепестки розы или лилии, засушенные прошлым летом, либо даже подаренное ему перо из хвоста райской птицы; если упомянутые роскошные звуки взволнуют его сердце воспоминаниями о поре зеленого салата, поре вишен, о солнечных Троицыных днях, о цветении роз и днях Марии: то пастор едва ли уже будет помнить, что находится в Швеции, когда служанка внесет лампу и он вдруг со смущением увидит комнату, в одночасье ставшую чужой. Если же ему захочется еще большего, то он может зажечь огарки восковых свечей, чтобы весь вечер вглядываться в большой мир, откуда он их добыл. Ибо я уверен, что при стокгольмском дворе,

как и в иных местах, можно приобрести за деньги – у обслуживающего персонала – огарки восковых свечей, которые прежде горели в серебряных подсвечниках.

Однако по прошествии полугода в грудь нашего пастора наконец постучит нечто лучшее, чем Италия, – где солнце, между прочим, заходит гораздо раньше, чем в Хаслау, – а именно: великолепно нагруженный самый длинный день, который уже в час ночи держит в руке утреннюю зарю, наполненную пением жаворонков. Незадолго до двух, то бишь до солнечного восхода, в доме пастора соберется упомянутая выше пестрая компания ребятишек, намеревающихся совершить вместе с пастором маленькое увеселительное путешествие. Они отправляются в путь в начале третьего, когда все цветы уже сверкают, а леса кажутся мерцающими. Теплое солнце не грозит ни непогодой, ни проливным дождем, потому что и то, и другое в Швеции случается редко. Пастор одет по-шведски, как и все прочие: на нем короткая куртка с широким шарфом, поверх нее короткий плащ, круглая шляпа с развевающимися перьями и ботинки со светлыми шнурками; конечно, выглядит он, не отличаясь в этом от своих спутников, как испанский рыцарь, как провансалец, вообще как южный человек – по крайней мере, сейчас, когда и он, и его веселые спутники мчатся сквозь изобилие высоких цветов и листьев, за немногие недели повывлезавших из грядок и из ветвей.

Нетрудно догадаться, что такой самый длинный день пролетает еще быстрее, чем самый короткий: еще бы нет, когда так много солнца, воздуха, цветов и досуга! После восьми вечера компания отправляется в обратный путь: солнце теперь смягчает свой жар над полузакрывшимися сонными цветами – в девять оно уже убрало лучи и купается, обнаженное, в синеве; около десяти, когда компания входит в пасторскую деревню, пастор вдруг чувствует себя странно умиленным и размягченным: потому что в деревне – хотя низко стоящее теплое солнце еще разбрасывает утомленно-красные блики вокруг домов и прилепляет их к оконным стеклам – в деревне всё затихло и покоится в глубоком сне; даже птицы дремлют в желтовато-сумрачных кронах, а в конце концов и само солнце, как луна, одиноко опускается за горизонт в безмолвствующем мире. Романтически одетому пастору мнится, что перед ним открылось розовоцветное царство, где обитают феи и духи; его бы не очень удивило, если бы в этот золотой час духов к нему вдруг подошел брат, еще в детстве сбежавший из дома, – теперь будто свалившийся с цветущего волшебного неба.

Но пастор не распускает по домам свое сообщество путешественников, а удерживает в пасторском саду, где каждый, кто хочет, – говорит он, – может подремать в красивых беседках в течение тех коротких теплых часов, что остаются до восхода солнца...

Предложение было всеми принято, и сад оккупирован; правда, некоторые милые парочки, возможно, только делают вид, будто спят, а на самом деле держатся за руки. Счастливый пастор расхаживает взад-вперед между грядками. На небе уже появились немногие прохладные звезды. Ночные фиалки и левкой раскрылись и испускают сильные ароматы, хотя довольно светло. На севере, со стороны вечного полярного утра, уже видна светло-золотистая рассветная дымка. Пастор думает о далекой деревушке своего детства, о жизни и печали человеческой; он молчит, но сердце его переполнено. И тут юное утреннее солнце снова вступает в мир. Кое-кто, перепутав его с вечерним солнцем, опять прикрывает глаза; но жаворонки всё разъясняют и беседки пробуждаются.

Тем временем радость и утро набирают полную силу; – и, можно сказать, ни в чем не ощущается недостатка. По крайней мере, так я представляю себе этот день, пусть он и не разнится ни единым лепестком с днем предыдущим».

* * *

Гланц, чье лицо было максимально благожелательной рецензией на написанные им же работы, оглядел наследников, не без торжества за только что зачитанное сочинение; однако

только инспектор полиции Харпрехт, изобразив на физиономии целого Свифта, высказал свое мнение: «Этот соперник своим умом доставит нам много хлопот». Придворный фискал Кнолль, и Нойпетер, придворный торговый агент, и Флитте уже давно, из отвращения к зачитываемому тексту, отошли к окну, чтобы поговорить о каких-то разумных вещах.

Все резервные наследники покинули залу. По дороге коммерсант Нойпетер заметил:

– Не понимаю, как столь солидный человек, наш покойный родственник, уже стоя на пороге могилы, мог сыграть с нами такую шутку!

– Может быть, – сказал Флакс, новоиспеченный владелец дома, чтобы утешить всех прочих, – молодой человек вообще не получит наследства из-за трудных условий.

Кнолль поддержал домовладельца:

– Они не менее трудные, чем сегодняшнее. Очень глупо – и с его, и с нашей стороны – было бы рассчитывать на успех. Ибо, согласно клаузуле 9-й, «Если же Харниш откажется...», три четверти наследства достанутся *corporibus piis*. А если и не откажется, но будет совершать промах за промахом...

– Дай-то Бог! – перебил его Харпрехт.

– ...будет делать всякие глупости, – продолжил Кнолль, – то мы, опираясь на клаузулы «Веселым, как я сказал в предыдущей клаузуле...», и «Ежели дьявол так оседлает...», и «Я обращаю внимание всех господ – от г-на члена церковного совета Гланца...», сумеем много чего добиться.

Тут все присутствующие избрали Кнолля защитником их прав и вознесли хвалу его памяти.

– Я еще припоминаю, – сказал придворный фискал, —

что, согласно клаузуле о «наследственных обязанностях», наш молодой человек, прежде чем вступит в наследство, должен получить место пастора, тогда как в настоящий момент он является всего лишь юристом-

– Но вы, – быстро закончил свою мысль Кнолль, – господа духовные и юродивые, надеюсь, сумеете задать жару экзаменуемому, сумеете как следует пощипать его – я правда в это верю.

Тут полицейский инспектор добавил, что тоже на это надеется. Но поскольку член церковного совета, которому эти двое давно были известны как ниспровергатели церковных кафедр, как браконьеры в канонической роще, уже с удовольствием предчувствовал наслаждение обедом, слишком драгоценное, чтобы жертвовать им ради дискуссий, – то он постарался сдерживать раздражение и закрыть глаза на обиду.

Попутчики разделились. Придворный фискал пошел провожать до дому придворного торгового агента, чьим судебным агентом он был, и по дороге сообщил ему, что юный Харниш уже давно хотел, – будто разнюхал что-то о завещании, где от него требуется именно это, – стать нотариусом и после перебраться в город; и что сам он в четверг поедет в Эльтерляйн, чтобы принять у Харниша соответствующий экзамен. (Кнолль был пфальцграфом.)

– Может, вы тогда и договоритесь, – попросил придворный торговый агент, – чтобы юноша, приехав в город, остановился сперва у меня: поскольку в моем доме как раз пустует плохонькая комнатенка под крышей.

– С легкостью договорюсь, – заверил его Кнолль.

Первым, что Кнолль сделал – дома и вообще во всем этом деле, – было составление письма сельскому шультгейсу в Эльтерляйне, где он извещал старика, что «послезавтра, в четверг, дважды будет проездом в подведомственном ему селе и на обратном пути, уже ближе к вечеру, посвятит его сына в нотариусы»; сверх того он, дескать, уже «договорился с одним благородным другом, что тот сдаст молодому человеку превосходную, но недорогую комнату». – Затем, перед полномочным бургомистром, он выдал договоренность, заключенную только сейчас, за уже осуществившуюся: желая, как кажется, помимо платы за посвящение в нотариусы, обещанной ему завещателем, еще прежде получить такую же плату и от родителей.

Во всех своих рассказах и высказываниях он оставался в высшей степени правдивым, пока они не касались практики; на другие же случаи всегда имел при себе (поскольку хищные звери охотятся только ночью) необходимый ему сгусточек ночной тьмы, который изготавливал либо из голубой дымки, как положено адвокату, либо из мышьяковистых испарений, как подобает фискалу.

№ 4. Кость мамонта из Астрахани Волшебная призма

Старый Кабель из глубины своей могилы вызвал землетрясение под морем Хаслау: так взбаламутились, словно волны, тамошние души, пытаясь разузнать что-то о юном Харнише. Маленький город – это большой дом, и улицы в нем – всего лишь лестницы. Кое-кто из молодых господ даже проделал верхом весь путь до Эльтерляйна, с единственной целью: поглазеть на наследника; но всякий раз оказывалось, что увидеть его невозможно, ибо он бродит где-то по горам и полям. Генерал *Заблоцкий*, владевший в Эльтерляйне поместьем, отправил своего управляющего в город, чтобы навести справки. Кое-кто по ошибке принял только что прибывшего в город флейтиста-виртуоза ван дер Харниша за одноименного наследника и довольствовался сплетнями о приезде; особенно этим отличались люди с односторонним слухом, которые, будучи на одно ухо глухими, слышат лишь половину произносимых речей. Только в среду вечером – а завещание было вскрыто во вторник – город наконец вышел из мрака неведения, и произошло это в пригороде, в трактире «У очищенного рака».

Почтенные члены профессиональных коллегий обычно подливали там в чернила своего рабочего дня немного вечернего пива, чтобы разбавить черную краску жизни. А поскольку старый сельский шультгейс Харниш вот уже двадцать лет как заглядывал сюда, хозяин «Очищенного рака» смог рассказать собравшимся, по крайней мере, об отце наследника: что тот каждую неделю засыпает правительство и Палату бессмысленными запросами, а здесь всякий раз заводит бесконечную старую песню о своей трудной должности, о своих многочисленных юридических мнениях и книгах, о своем «двугосподском» хозяйстве и сыновьях-близнецах, – но при этом за всю жизнь не заказал больше одной-единственной селедки и кружки пива. «Этот сельский шультгейс, – продолжил хозяин, – хоть и мастак вести высокопарные речи, но на самом деле трусливый заяц, который, коли хочет чего-то добиться, посылает вместо себя жену или подает длиннющие прошения; а еще у него слишком утонченная натура – и если кто-то в его присутствии скривит лицо, он потом переживает целыми днями; а уж тот нагоняй, что он зимой получил от правительства, до сих пор комом лежит у него в желудке».

Только вот о главном, закончил хозяин трактира, о сыновьях шультгейса, он ничего не знает; кроме того, что один из них, Вульт – пройдоха и любитель свистеть на флейте, – в четырнадцать с половиной лет сбежал из дома с таким вот (тут корчмарь показал на господина ван дер Харниша) господином; о другом же сыне, который объявлен наследником, наверняка лучше расскажет вон тот господин в сюртуке с черными петлями, что сидит чуть подальше, – ибо это не кто иной, как кандидат в проповедники и школьный учитель *Шомакер* из Эльтерляйна, в прошлом наставник Вальта.

Кандидат Шомакер как раз исправлял карандашом опечатку на макулатурном листе, прежде чем плотно завернуть в этот лист пол-лота мышьяка. Он ничего не ответил, а завернул пакетик из печатного листа в лист белой бумаги, запечатал новый пакет печатью, надписал на всех углах: *Яд!* – и продолжал заворачивать это во всё новые листы и надписывать их, пока не повторил такую процедуру семь раз и не получил в результате толстый пакет размером в восьмую долю листа.

Теперь он поднялся – широкоплечий, сильный человек – и сказал очень робко, так же расставляя в своей речи запятые и прочие знаки препинания, как каждый из нас расставляет их на письме:

– Это совершенная правда, что он мой ученик; в связи с чем могу вас заверить, во-первых, что он юноша благородного нрава, и, во-вторых, что сочиняет по новой методе превосходные вирши, которые сам он называет длиннотишиями, я же предпочитаю именовать полиметрами.

При этих словах флейтист-виртуоз ван дер Харниш, который прежде с холодным выражением лица описывал круги по залу, внезапно загорелся интересом. Подобно прочим виртуозам, он привез из своих поездок по большим городам презрение к городам малым (а вот деревню такие господа ценят): потому что в маленьком городе ратуша это никакой не одеон, частные дома – не художественные галереи, а церкви – не античные храмы... Приезжий обратился к кандидату с почтительной просьбой высказаться подробнее.

– Если долг требует от меня, – ответил тот, – чтобы завтра, вернувшись домой, я не открыл никаких сведений об открытии завещания самому наследнику – потому что это сделает мой начальник в субботу, – то тем более мне не подобает излагать всю историю жизни живого человека, не спросив у него разрешения, и тем более... О Господи, кто же из нас станет трупом? – возопил он вдруг, ибо в бое часов ему послышался звон надгробного колокола; и тотчас схватился за лежащую рядом газету с рассказом о какой-то битве, чтобы приободриться: ведь ничто так не помогает человеку занять позицию хладнокровного смельчака по отношению к перспективе собственной смерти, как поле в одну или две квадратных мили, сплошь усеянное окровавленными конечностями и мертвецами.

По поводу такой роскошной религиозной бессовестности флейтист соорудил презрительную мину; и с досадой сказал – прежде достав из кармана призму и потребовав четыре свечи:

– Я мог бы очень быстро узнать, кому суждено в скором времени стать трупом; но лучше, господин кандидат, я с помощью этой волшебной призмы расскажу вам всё то, что вы не хотите рассказать мне.

Он объяснил, что призма содержит в себе различные *воды*, собранные с четырех сторон света; что нужно потереть ее о грудь, с той стороны, где сердце, пока она не согреется, и потом тихо произнести, какие события ты хотел бы увидеть в прошлом или будущем; и если интересующий тебя человек вознамерился что-то предпринять, о чем сам он никогда не скажет, если только ему не будет грозить смертельная опасность, – потому-то тайну обычно узнают либо от умирающего, либо от того, кто собирается совершить самоубийство, – то тотчас в этих четырех водах возникнет туман, который будет клубиться и густеть, пока не сконцентрируется в светлые человеческие фигуры: и они тогда воспроизведут свое прошлое или разыграют свое будущее либо настоящее, уж как того потребует владелец призмы.

Школьный учитель Шомакер пока что держался по отношению к призме равнодушно и твердо: поскольку знал, что, произнеси он молитву, и никакой черт ему не страшен. Ван дер Харниш же вытащил из кармана свою крестильную простынку, набросил ее себе на голову, а под ней как-то взбодрился и потом затих; наконец присутствующие услышали слова: «комната Шомакера». Теперь флейтист отбросил простынку, испуганно уставился на призму и принялся громко и монотонно описывать каждую малость, которая находится в этом тихом холостяцком жилище, начиная от печатного прессы и кончая птичкой за печью, даже вплоть до мышки, которая как раз там пробегала.

Поначалу у кандидата волосы то ли зашевелились слегка, то ли нет; но когда ясновидец сказал: «Какая-то призрачная тень в вашей комнате облачилась в ваш шлафрок, и разыгрывает вашу роль, и ложится в вашу постель», – тогда Шомакера в самом деле прошиб холодный пот. «Это была толика вашего настоящего, – сказал виртуоз. – Теперь черед малой толике прошлого, а потом мы увидим столько будущего, сколько понадобится, чтобы узнать: не вы ли станете в нынешнем году трупом».

Напрасно кандидат пытался поставить ему на вид аморальность заглядывания в прошлое и в будущее; господин ван дер Харниш ответил, что он целиком на стороне своих духов, которые хотели бы выкупаться в том и в другом, – и уже начал рассказывать, глядя в призму, как кандидат, еще будучи молодым человеком, отказался и от места воскресного проповедника, и от брака: просто потому, что имел 11000 угрызений совести.

Трактирщик шепнул что-то на ухо измученному учителю, но из всей фразы внятно прозвучало только слово «драка». Шомакер – которому о собственном будущем хотелось слышать еще меньше, чем о прошлом, – пожертвовал моральными принципами и дал понять таинственным духам, что лучше он сам расскажет сейчас историю семейства Харнишей, ставшую столь интересной для всех благодаря обнаруженному завещанию; а господин ван дер Харниш, мол, пусть смотрит в призму и помогает ему, дополняя его рассказ.

Виртуоз-мучитель тут же согласился. Работая на пару, эти двое кратко воспроизвели предысторию героя завещания, которую читатели с тем большим удовольствием найдут в *фогтландском мраморе с прожилками бледно-мышиного цвета* (ибо именно так называется следующий номер), что после столь многих уже прочитанных печатных страниц каждый из них, наверное, мечтает поближе узнать героя, пусть тот и будет пока оставаться на дальнем плане. Автор же сей книги постарается выполнить свой долг: соединить двух Евтропиев в одного Тита Ливия, текст же последнего немного пригладить, вычеркнув из него *пата-визмы* и подчеркнув стилистические красоты.

№ 5. Фогтландский мрамор с прожилками бледно-мышинного цвета Предыстория

Шультегйс Харниш – отец полного наследника – еще в юности возвысился до положения странствующего подмастерья каменщика и при своих математических способностях и усидчивости – а он все воскресенья, пока странствовал, читал на свежем воздухе книжки – наверняка добился бы многого, если бы однажды в веселый праздник Марии в трактире не залетел в мухоловку вербовщиков, сделанную в виде бутылки. Напрасно хотел он на следующее утро выбраться наружу через узкое горлышко: влипнуть ему довелось основательно. Он колебался: прокрасться ли ему на кухню и там выбить себе передние зубы, чтобы они не достались полковому начальству, или все-таки лучше – поскольку его и без зубов могут забрать в артиллерию – застрелить из окна этого вербовочно-питейного заведения какую-нибудь таксу: чтобы навлечь на себя бесчестье и таким образом, в соответствии с тогдашними обычаями, освободиться от кантональной службы. Он предпочел потерять честь и сохранить челюсть. Только вот убитая такса хотя и высвободила молодого человека из лап вербовщика, но одновременно, подобно новому Церберу, выкусила его из строительной гильдии.

«Ну и ладно, – утешал себя Лукас, мечтая о сельских просторах, – лучше уж иметь незащищенную прореху в чулке, чем зашитую – в собственной икре». Столь сильно он, будучи человеком ученым, хотел уклониться от воинской службы.

В то время как раз умер его отец, тоже шультегйс; Лукас вернулся в родное село и унаследовал как отцовский дом, так и связанное с ним коронное наследство, то бишь должность; правда, само коронное имущество состояло из исчисленных в кронах долгов. И за короткое время наследник это доставшееся ему долговое имущество значительно умножил. Дело в том, что он душой и телом погрузился в пучину юриспруденции: просиживал положенные ему рабочие часы над одолженными документами и купленными им самим книгами, выдавал на все стороны никому не нужные *responsa*, которые порой растягивались на целые страницы и дни: он ведь протоколировал каждое действие, совершенное им в качестве шультегйса, – писал сперва черновик, а потом и чистовик, использовал красивый ломаный шрифт «фрактура» и косой курсив, которым еще и копировал всё это для себя; приглядывал, опять-таки как шультегйс, за происходящим в селе – сам всюду совал нос и целыми днями осуществлял свое правление. В результате село стало процветать гораздо больше, чем собственные поля и луговины шультегйса, и его должность жила благодаря ему, а не он – благодаря своей должности. Он мог бы сразу приписать себя к лучшим горожанам, живущим на широкую ногу: как Сорбонна, это учебное заведение для бедных (*pauperrima domus*), приписала себя к университету. Однако все разумные жители Эльтерляйна сходились на том, что, если бы не работящая жена шультегйса – так сказать, здравый смысл во плоти, – которая за *одно* утро успевала приготовить еду для скотины и домочадцев, выгнать скотину на пастбище и заняться покосом, ему бы давно пришлось, с должностным скипетром в одной руке и нищенским посохом в другой, покинуть свой правящий дом и двор, каковыми он и без того, собственно, владел лишь условно, как бы арендуя их у своей благоверной.

Для него оставалось одно целительное средство: решить, что он отказывается от дома и, значит, от должности. Но он бы скорее позволил себя обезглавить, чем согласился хотя бы понюхать – а тем паче принять – такое лекарство: горькое питье, которое отравило бы все его дальнейшее существование.

Во-первых, должность шультегйса с незапамятных пор переходила по наследству в его семье, как засвидетельствовано официальной историей; его юридическая практика, его сердце,

да даже и его вечное блаженство были привязаны к этой должности, поскольку он знал, что во всем селе не найти на этот пост второго такого же хорошего юриста, как он, – хотя люди понимающие утверждали, что от исполнителя такой должности требуется не больше, чем, согласно Золотой булле, от римского императора: а именно, чтобы он был «справедливым, добрым и полезным человеком»¹. Добравшись до дома, однако, шультгейс всякий раз оказывался в нижеописанной – совершенно поразительной – бедственной ситуации.

Дело в том, что Эльтерляйн имел сразу двух господ: на *правом* берегу ручья жили ленники известного князя, на *левом* – подданные не менее известного вельможи; в обычной жизни сельчане называли себя просто *правыми* и *левыми*. Так вот, судя по всем межевым книгам и по истории пограничных конфликтов, в старые времена демаркационная линия, то бишь ручей, пролегла вплотную к дому шультгейса. Позже ручей изменил свое русло – а может, засушливое лето притянуло его поближе к небу; короче говоря, дом Харнишей оказался построенным *над* ручьем, так что не только стропильная ферма простиралась над двумя разными территориями, но и потолок комнаты, и даже – когда его ставили – инвалидное кресло.

Однако в той же мере, в какой этот дом стал для старого шультгейса преддверием юридического рая, он одновременно был преддверием его камералистского ада. С несказанным удовольствием шультгейс часто оглядывался по сторонам в своей комнате – где на стене был изображен княжеский пограничный столб с гербом, – бросал публицистические взгляды то на княжеские, то на рыцарские половицы и правовые грамоты и думал, что по ночам он относится к *правым* – потому что спит по-княжески, – и только в дневное время живет как *левый*, потому что его обеденный стол и печка пожалованы в дворянство. Его сыновья уже привыкли, что по воскресеньям, перед ужином, отец – если прежде он долго предавался размышлениям, – жизнерадостно и поспешно трясет головой, приговаривая: «Мой дом, хочу я сказать, как по мерке сшит для дельного юриста, потому что любой другой человек проворонил бы в нем все важнейшие права и территории, не сумев с ними как следует разобраться, – ведь он не чувствовал бы себя в этом деле как дома; и ты хочешь, Вронель, чтобы я, старый опытный ходатай, добровольно ушел отсюда, от всего этого отказался?» – Лишь спустя долгое время он, так и не дождавшись ответа от Вероники, своей супруги, отвечал себе сам: «Да ни за что и никогда!»

Правда, когда он, что случалось каждодневно, отступал от своих заимодавцев в домашнюю цитадель, а им, как поступают и другие коменданты крепостей, оставлял предместья, то бишь нуждающееся в обработке поле, – оставлял, значит, поле битвы и, насколько умел, пытался отсрочить продажу дома, а вместе с ним и должности, вместо того чтобы повышать урожайность пашни, – ведь именно этого требовало его бьющееся сердце, струнодержатель всей его жизни: тогда он рассчитывал еще и на две пары зачатых им рук, что они ему помогут и выправят подгриф, управляющий как светлейшими звуками, так и диссонансами; он имел в виду двух сыновей-близнецов.

В свое время, когда Вероника собралась их рожать, шультгейс – как если бы она была сицилийской или английской королевой – пригласил достаточное количество свидетелей родов, которые после перекалфицировались в свидетелей крещения. Родильное ложе он передвинул на рыцарскую территорию, потому что мог родиться сын и такое место рождения вырвало бы его из княжеских рук, которые наложили бы на мальчика лямку солдатской службы вместо уже заранее предназначенной для него повязки Фемиды. И действительно, на свет появился герой этой книги, *Петер Готвальт*.

Однако роженица, как выяснилось, не собиралась на этом останавливаться; поэтому отец счел своим долгом и необходимой мерой предосторожности подsunуть теперь родильное ложе князю – дабы каждый получил, что ему причитается. «В лучшем случае родится еще и девочка, – сказал он себе, – или... *чего пожелает Бог*. Родившийся вскоре младенец оказался

¹ Aur. Bull. I: homo justus, bonus et utilis. – *Примеч. Жан-Поля.*

отнюдь не девочкой, а тем самым, о чем шультгейс подумал в последнюю очередь; поэтому мальчик – после того, как кандидат Шомакер помянул и перевел с латыни имя человека, который при Гейзерихе был епископом Карфагенским, получил имя того самого епископа: *Quod Deus vult* – или, для домашнего употребления, просто *Вульт*.

Сразу же в комнате были проведены четкие разграничения, огораживания и приняты положения о территориальном разделе: колыбели и все прочие предметы обстановки подверглись соответствующему распределению. Готвальт спал, и бодрствовал, и сосал материнское молоко как *левый*, Вульт же – как *правый*; позже, когда оба младенца научились ползать, от Готвальта, подданного вельможи, княжескую территорию легко отделили невысокой решетчатой оградой – просто позаимствованной из курятника или какого-то стойла; и точно так же необузданный Вульт прыгал за своим частоколом, обретая из-за этого сходство с мечущимся в клетке леопардом.

Лишь ценой длительных и напряженных усилий Вероника привыкла к такому смехотворному разобщению наследников; но ей пришлось смириться: ведь старый Лукас, как все ученые, отличался особым упрямством в отстаивании своих мнений, а также, несмотря на всю любовь к супруге, – холодным равнодушием к тому, что он может казаться смешным.

Вскоре сделалось очевидно: научные дисциплины в будущем станут стезей Готвальта; ведь, и не отдавая ему родительского предпочтения, легко было заметить: этот белокурый, с тонкими руками, хрупкого телосложения мальчик, даже проведя целое лето в качестве овечьего пастушка, оставался до такой степени снежно- и лилейно-белым, что отец говорил – он, дескать, скорее подобьет сапог кожицей от яичного белка вместо нормальной кожаной подметки, чем допустит, чтобы этот его сын вел жизнь крестьянина. Однако у мальчика была столь благочестивая, застенчивая, нежная, благородная, способная к обучению, мечтательная натура – хотя он казался до смешного неуклюжим и эластично-подпрыгивающим, – что к огорчению отца, который хотел вырастить из сына юриста, все жители села, включая самого пастора, говорили: со временем Вальт непременно должен, как учил Цезарь, стать первым человеком в родной деревне, то бишь пастором. «Ибо как же это? – недоумевали сельчане. – Готвальт, голубоглазый блондин с пепельно-серыми волосами, с тончайшей снежно-белой кожей... – как? – такой человек должен когда-нибудь стать криминалистом и служить под эгидой великого триумфатора Карпцова, который одним лишь своим убийственным пером, сделанным из меча Фемиды, погубил двадцать тысяч человек? Вы, хотя бы ради пробы, пошлите его, – продолжали сомневающиеся, – с печатью суда к какой-нибудь бледной вдовице, которая, молитвенно сложив руки, сидит в кресле и слабым, тихим голосом перечисляет свои скудные пожитки, и заставьте выполнить поручение: по судебному решению беспрепятственно опечатать все ее старые двери, и шкафы, и шкатулку с последними вещичками, оставшимися на память о муже, – увидите тогда, сумеет ли он справиться с этим, несмотря на свое сердцебиение и сочувствие!»

«Но зато младший брат-близнец, Вульт, – уже веселее продолжали сельчане, – этот черноволосый, рябой, коренастый пройдоха, который успел подрасть с половиной села, постоянно шастает по окрестностям и являет собой настоящий передвижной театр *aux Italiens*, так как умеет передразнить любую физиономию и любой голос, – вот он совсем другой человек: ему можно смело сунуть под мышку папку с юридическими документами или подставить под задницу стул судебного заседателя. Если Вальт – в дни карнавала – в танцующем школьном классе всегда сопровождал кандидата Шомакера и его скрипку собственным маленьким контрабасом, позволяя совершать прыжки разве что своим радостным глазам и смычку: то Вульт, танцуя, скакал по всей комнате с грошовой флейтой у губ, находя еще свободное время и свободные конечности для всякого рода проделок, – разве не должны такие таланты пригодиться в юриспруденции, а, господин шультгейс?» —

«Должны», – соглашался отец. В итоге Готвальт был посажен на небесную лестницу, как будущий пастор и консисторская птичка; Вульту же пришлось мастерить для себя ямную лест-

ницу в дельфийскую правовую пещеру, чтобы потом подняться оттуда уже в качестве юридического штейгера, от которого шультгейс ожидал для себя всяческих благ: сын, дескать, вытащит его из зловонной ямы, обвинив золотыми и серебряными рудными жилами, неважно каким способом – то ли ведя за него судебные процессы, то ли помогая делать накопления, то ли став судебным управляющим в их местечке (а может, даже и правительственным советником, уж как оно там получится), то ли просто посылая к первому дню каждой четверти года хорошие денежные подарки.

Да только Вульт – не говоря уж о том, что он не желал ничему учиться у школьного педагога и кандидата Шомакера, – имел тот досадный недостаток, что вечно свистел на дешевой флейте, а в четырнадцать лет, в день праздника освящения храма, встал под окном замка, где играли флейтовые часы, чтобы у этих часов, как у своей первой учительницы, взять, если и не часовой, то хоть четверть-часовой урок музыки. – Здесь, думаю, самое время вставить ту аксиому, что люди вообще за четверть часа обучаются большему, чем за час. Короче говоря, однажды, когда Лукас вел сына в город для осмотра на предмет годности к воинской службе (проформы и порядка ради), Вульт сбежал с встреченным по пути пьяным музыкантом, который своим инструментом еще как-то владел, а вот собой и собственным языком уже нет; сбежал на все четыре стороны. С тех пор его больше не видели.

Теперь получалось, что юриспруденцией должен все-таки заняться Готвальт Петер. Но мальчик никоим образом этого не хотел. Поскольку же он постоянно читал – а для народа чтение все равно что молитва (ведь и Цицерон выводил слово *религия* от *relegere*, «часто читать»), – в глазах всех сельчан он уже теперь был «маленьким пастором», а мясник, выходец из Тироля, даже называл его то пасторским мальчонкой, то пасторским служкой; потому что он в самом деле был как бы маленьким *капелланом* или *причетником*, точнее, выполнял функции таковых: охотно приносил на кафедру Библию в черном переплете, застилал перед Таинством Причастия алтарь, держал блюдо с облатками и кубок, самостоятельно в середине дня (когда Шомакер тайком удалялся домой) сопровождал игрой на органе церковную службу и всегда посещал церковь даже в будние дни, если должны были кого-то крестить. Да, и если по вечерам после занятий пастор выглядывал из окна, в шапочке и с трубкой, то и Вальт надеялся, что не отстает от него, когда, с пустой холодной трубкой и в белой шапочке, приникал к своему окну, что придавало его детскому личику сходство с лицом библейского патриарха. И разве однажды зимним вечером Вальт не взял под мышку сборник церковных песнопений и не совершил, как пастор, настоящее посещение страждущей, отправившись к совершенно безразличной ему, больной артритом, дряхлой вдове портного и начав зачитывать ей текст песни «О вечность, радостное слово...»? И разве не пришлось ему, добравшись всего лишь до второго стиха, прервать это действие, потому что на глаза вдруг навернулись слезы – относящиеся не к глухой высохшей старухе, а к самому действию?

Шомакер очень близко к сердцу принимал судьбу любимого ученика и как-то вечером не побоялся заявить самому *судье* («Я предпочитаю, чтобы меня называли именно судьей, а не шультгейсом», – говорил Лукас), что он, мол, уверен: на духовном поприще человеку живется лучше, особенно это касается утонченных натур.

Но поскольку сам-то кандидат так и не стал никем, разве что *собственным* минусовым знаком и собственным вакантным местом, судья ответил на его речь только вежливым невнятным бормотанием; после чего рассказал заплесневелый анекдот о том, как однажды профессор юриспруденции обратился к своим студентам: «Высокочтимые господа министры юстиции, тайные советники, действительные тайные советники, президенты, финансовые, государственные и прочие советники и синдики, к которым я обращаюсь так, ибо пока не знаю, что из вас всех получится!» – Лукас еще прибавил, что в Пруссии адвокату платят за час работы, что зафиксировано в законах, 45 крейцеров, и попросил подсчитать, сколько это выходит за год; а ведь настоящему юристу (подвел он итог) сам черт не брат; и легче удержать поро-

сенка за намыленный хвост, чем заставить адвоката придерживаться буквы закона (что, наверное, на более культурном языке означает: знание права это описанная вокруг человека монетная легенда, оберегающая его от попыток всяких проходимцев отрезать кусочек ценного металла), – и как раз тощие селедки, наподобие его Петера Вальта, превращаются на этом поприще в крупных щук: ведь чем тоньше нож, тем острее лезвие; и он знает ходатаев, которые способны, как нитка, пролезть сквозь угольное ушко, но при этом могут пребольно уколоть.

Речи шульштейса, как всегда, ничему бы не помогли; но разумная Вероника, его жена, захотела (вопреки обыкновению женщин, которые в домашней консистории всегда, как советники от духовного сословия, голосуют против светских властей) перегнуть сына из церковного загона для овец на юридическую скотобойню; а все потому, что когда-то она работала кухаркой у городского пастора и, как она говорила, хорошо представляет себе эту бранию.

Вероника, когда осталась наедине с сыном, который был к ней привязан больше, чем к отцу, сказала только: «Мой Готвальт, я не могу принудить тебя выбрать отцовскую профессию; но послушай: в первый же раз, как ты будешь читать проповедь, я одену траурное платье, накину белое покрывало, отправлюсь в церковь и во все время проповеди – как если бы это была надгробная проповедь – буду стоять со склоненной головой и плакать; а если женщины спросят меня, почему, я покажу на тебя». – Эта картина так мощно овладела фантазией Вальта, что он, заплакав, стал выкрикивать «нет», «нет!» (имея в виду траурное покрывало) и говорить «да», «да!» своей будущей адвокатуре.

Так случай навязывает нам наш жизненный путь, да и идеи тоже; от нашего произвола зависит лишь то, как долго мы будем следовать этим путем, следовать этим идеям, и как скоро от них отделимся.

Вальту разные языки давались, как они даются народам – чуть ли не сами собой. Этим он вознес своего отца на вершины восторга: ведь сельские жители, как и ученые люди, определяют разницу между ученым и рабочим сословием, исходя почти исключительно из того, как у человека подвешен язык. Поэтому Лукас, бывший каменщик, однажды сухой весной собственноручно построил – не встретив противодействия ни со стороны убитой таксы, ни со стороны гильдии, к которой когда-то принадлежал, – приватную учебную комнатку для своего ходатая. Этот последний сперва посещал (знаменитый) лицей *Иоганнеум*; потом перешел в (знаменитую) гимназию *Александринум* (названия обоим учебным заведениям дал не кто иной, как выступающий в коллегиальном двуединстве кандидат Шомакер собственной персоной: ибо его звали Иоганн Александр). Поначалу Вальт вместе с Вультом, пока тот не сбежал, посещал и воплощал в своем лице третий младший класс, а потом и третий старший; но после бегства брата ему пришлось, уже без флейтиста, одному закончить второй и первый, где он прихватил и начатки иврита, который в этих классах изучают теологи. Когда ему исполнилось двадцать, он из гимназии, то есть из рук гимназиарха, перешел – уже в качестве абитуриента – в Лейпцигский университет, который, за неимением более высокой школы, посещал ежедневно: ровно столько времени, сколько способен был выдерживать голод. «С самой пасхи он снова в родительском доме, а завтра его посвятят в нотариусы, чтобы ему было на что жить», – так закончил эту поучительную историю кандидат Шомакер.

№ 6. Медный никель Quod Deus Vultiana

После окончания истории разъяренный флейтист подошел к опечаленному школьному учителю и спросил:

– Разве вы не заслужили, чтобы я тотчас заглянул в призму и обнаружил там вас в виде долговязого трупа? Как, вы, *микролог* нравственности, *esprit de bagatelle* морали, вы из страха перед моими ценными пророчествами обнаглели до того, что решились, против своей же совести, выставить из-под покрова на всеобщее обозрение тайные сведения о двух благородных братьях и их родителях? Так раскайтесь же, услышав мое признание: я не сказал до сих пор ни единого правдивого слова, а все тайны узнал не из призмы, но от самого сбежавшего флейтиста Вульта, то есть от совсем другого человека. Я с этим человеком играл на флейте в другом Эльтерляйне: а именно, в горняцком городишке близ Аннаберга. А чтобы собравшиеся здесь, после того как я столь долго корчил из себя мудреца, мне поверили, я перед ними поклянусь: да буду я проклят навеки, если я не знаком с Вальтом и не узнал всё, что сейчас рассказывал, лично от него.

И он произнес вовсе не ложную клятву: потому что сам он и был этим сбежавшим Вальтом собственной персоной, но при этом – и продувной бестией.

Кандидат воспринял эту атаку мирно: ибо его самого крайне угнетало то новое положение, в которое он, по его ощущениям, был загнан слишком стремительно, так что у него не оказалось ни секунды времени, чтобы выработать подходящую модель и мерную линейку нравственного поведения. А между тем мало найдется казуистов и специалистов по пасторской теологии, которых он не читал; он даже с Талмудом ознакомился – просто ради спасения собственной души.

Он отождествлял себя с каждым объявленным в розыск преступником: чтобы, если случайно его сочтут похожим на разыскиваемого, сразу быть к этому готовым в юридическом и нравственном смысле; и точно так же он нередко втайне – для удовольствия – обвинял себя в убийстве, в изнасиловании и прочих противоправных действиях: чтобы быть хорошо подкованным, если какой-нибудь злодей совершит их всерьез.

Поэтому он ответил только, что не мог бы сообщить Готвальту более радостной вести, нежели та, что его брат Вульт жив, – ведь Вальт безгранично любит беглеца.

– Так эта мошка еще жива? – вмешался хозяин. – Мы-то все думали, что она давно очурилась... И как же он выглядел, милостивый государь?

– Очень похоже на меня, – ответил Вульт и многозначительно оглядел потягивающих пиво *дикастериантов*, – если не учитывать половых различий: потому что я вполне мог бы быть как переодетой в мужское платье кавалершей д'Эон, так и самой этой небезызвестной дамой, – но мы, господа, не станем продолжать столь скользкую тему. Что же касается Вульта, то он, сам о том не подозревая, является, может быть, самым галантным и самым красивым из всех мужчин, в чье лицо мне доводилось заглядывать; разве что он слишком серьезный и слишком ученый человек – для музыканта, я имею в виду. Вам всем следовало бы увидеть его, то есть услышать. И при всем том он очень скромнен, как я уже говорил. «Музыкальным директором музыки сфер я никогда не стану», – сказал он однажды, кланяясь и откладывая флейту, – и, вероятно, имел в виду Господа. Каждый мог говорить с ним так же свободно, как с русским императором, который во всем своем императорском величии после спектакля заходит за кулисы и чувствует, что Коцебу заново создал его, а сам он заново создал Коцебу. Вульт добродушен и исполнен любви, но при этом рассержен на всех людей. Я знаю, что мухам, которые докучали ему, он отрывал *одно* крыло и отбрасывал их от себя со словами: «Ползите! в этой комнатке довольно места и для вас, и для меня»; многим пожилым господам он гово-

рил в лицо, что они – семикратные мошенники, старые, хоть и вымоченные в молоке сельди, выдающие себя таким образом за свежую сельдь; но тотчас прибавлял, что, как он надеется, они не истолкуют его слова превратно, – и далее вел себя с ними вполне любезно. Наше первое знакомство состоялось, когда он возвращался с распродажи имущества какого-то князя – и так дурачки, у всех на виду, нес перед собой купленный ночной горшок из серебра, что изумлял прохожих на каждой улице, по которой проходил. Я бы хотел, чтобы сейчас он тоже был здесь и мог навестить родных. Я испытываю такую симпатию к Харнишам, своим тезкам, что даже просил издателей «Лейпцигского альманаха» (правда, безрезультатно), чтобы они изобразили для меня родословное древо и весь родословный лес этого семейства.

Теперь он коротко и вежливо попрощался со всеми и отправился к себе в комнату – после того как, несмотря на вкрадчивость своих светских манер, целый день вытворял всякие безобразия. Он, например, неприлично нюхал цветы, выставленные на подоконники, когда ему случилось проходить мимо них; – он упрекнул еврейского мальчика, который просил милостыню на рынке, в дурном стиле попрошайничества и публично показал, как тому следует себя вести; – он не удосужился заказать перевод своего французского паспорта на немецкий язык, из-за чего у городских ворот началась дурацкая перебранка чиновников, с чтением слов по буквам, сам же он спокойно ждал и настаивал, чтобы всё было записано как в паспорте; – а в первый день пребывания в городе он устроил шутку с волшебной дракой, о которой хозяин, наверху, рассказал на ухо кандидату. То есть: находясь в совершенном одиночестве в своей комнате, он сумел устроить такой искусственный шум, что проходившие внизу караульные вообразили, будто на третьем этаже происходит драка, в которой участвуют по меньшей мере пять человек; когда же они, намереваясь наказать дебоширов, поднялись наверх и распахнули дверь, Квод деус Вульт, стоявший с намыленным лицом перед зеркалом для бритья, вполоборота обернулся, очень удивленный, держа в руке бритву, и с раздражением спросил: мол, что они здесь потеряли; он той же ночью еще раз сымитировал такую акустическую драку, а заглянувшего к нему представителя власти встретил (лежа в постели и будто бы плохо соображая со сна) словами: «Что это за изверг топчется у меня под дверью и нарушает мой первый сон?»

Всё это произошло потому, что в любом маленьком городке он мало ценил прежде всего полковой штаб; затем – представителей власти и двора; а горожан – еще меньше. Несмотря на такое обряженное в веселье неуважение, Вульт не хотел раскрываться перед жителями этого городка (которые не видели его в лучшие дни, блистающим среди жителей метрополий) в качестве человека, переживающего пасмурный жизненный период: простого крестьянского сына из Эльтерляйна; он предпочел возвести себя в дворянское звание, пусть и собственноручно.

В Хаслау он прибыл лишь для того, чтобы дать концерт, а потом прогуляться до Эльтерляйна и повидать родителей и брата, сохраняя инкогнито: так, чтобы самого его не увидели. Ему казалось невозможным, что он, после десятилетнего отсутствия – во время которого, словно пробковый электрический паук, перепрыгивал через такое множество городов, не создавая никакой паутины и не ловя добычу, – теперь снова предстанет перед своими бедными родителями, но, о небо, предстанет в качестве кого?

В качестве бедного флейтиста в длинных штанах-шоссах, желтом студенческом колете и зеленой дорожной шляпе, не имея в карманах (за исключением нескольких серебряных монет) ничего, кроме колоды проштемпелеванных билетов для будущих посетителей его флейтового концерта? – «Нет, – сказал он себе, – чем сделать такое, я лучше каждый день буду пить уксус из медного кубка, или вскормлю на своей груди речную выдру, или прочитаю либо прослушаю кантианскую мессу вместо пасхальной». Ведь если бы он и мог надеяться, что в конце концов покорит склонного к фантазиям отца своим музицированием и рассказами о дальних странах: то остается еще неподкупная мать с холодными светлыми глазами и пронизательными вопросами, которая безжалостно подвергнет расчленению его прошлое вкупе с будущим.

Но теперь, поскольку последний вечер (и сотня других часов) всё в нем изменил, теперь он поднимался по лестнице из чужой комнаты в свою, хоть и невозмутимый внешне, но с колебленными внутренними глубинами. – Мысль о том, что брат его любит, буквально захватила его; теперь он хотел с самого близкого расстояния рассмотреть это поэтическое утреннее солнце и повертеть его в руках, и впредь именно по его оси измерять диаметр Земли, именно по его силе – степень освещенности и теплоты; – завещание Кабеля придало юному поэту еще большую весомость – Коротко говоря, Вульт едва дождался следующего дня: так ему хотелось поспешить в Эльтерляйн, украдкой послушать, как Вальт будет сдавать экзамен на звание нотариуса, посмотреть на всех и в конце концов открыться брату – если, конечно, он этого заслуживает. С каким нетерпением пишущий эти строки ждет официальной возможности наконец вытащить героя из его глубоких зеркал – в следующей главе, – читатели могут оценить по собственному нетерпению.

№ 7. Фиалковый камень

Сельцо детства. – Великий человек

Вульт ван дер Харниш отправился из пригорода Хаслау в Эльтерляйн, когда половинка солнца еще сияла, свежо и горизонтально, над росистым луговым миром. Солнце как раз перешло из знака Близнецов в знак Рака; Вульт находил в этом сходство со своей ситуацией и думал, что из четырех близнецов он тот, кто пылает жарче всех прочих, и как второй Рак – тоже. В самом деле, еще в горняцком городке Эльтерляйн у горы Аннаберг началась его тоска по одноименному родному селу, и тоска эта усиливалась с каждой пройденной улицей; ведь даже человек с таким, как у нас, именем – насколько же сильнее одноименное место! – согревает нам сердце. На оживленной Хаслауской улице – напоминавшей удлинённый рынок – Вульт достал свою флейту и навстречу, как и вослед всем путникам стал кидать флейтовые мелодии, кусочки концертов; правда, он часто прерывался на хороших колоратурах или плохих диссонансах и искал носовой платок либо спокойно оглядывался по сторонам. Ландшафт то бодро поднимался на горку и потом спускался с нее, то растекался широким и ровным растительным морем, где хлебные нивы и межи изображали волны, а группы деревьев – корабли. Справа, на востоке, словно высокий окутанный туманом берег, тянулась далекая горная гряда Пестица, слева, на западе, мир мало-помалу стекал вниз, как бы следуя за вечерним красным заревом.

Поскольку Вульт хотел добраться до места лишь ближе к ночи, он очень часто останавливался. Его песочными часами в тот июльский день были скошенные луга, то бишь Линнеевы цветочные часы, но выполненные из одних только трав: стоящая трава указывала на 4 часа утра; лежащая – на время от 5 до 7; собранная граблями в кучки размером с муравейник – на 10 утра; холмы из сена – на 3 часа пополудни; горы, опять же из сена, – на вечер. Но он в тот день впервые видел на таком циферблате рабочую идиллию: потому что прежде долгие пешие прогулки делали его пресытившиеся глаза слепыми.

Именно когда холм на этих песочных часах достиг наибольшей высоты: тогда-то и потянулись, словно вечерние тени, вишневые и яблоневые деревья – чаще стали попадаться круглые зеленые плоды – в одной долине уже бежал темной линией ручеек, который скачет и через Эльтерляйн, – перед Вультом зеленела на пригорке, позлащенном вечерним солнцем, круглая разреженная рощица елок, из которых когда-то делали доски для его колыбели, а из рощицы, сверху, уже открывался, как он знал, вид на село.

Вульт углубился в рощу и в ее текучее солнечное золото, которое для него было чем-то вроде детской Авроры. Теперь ударил хорошо знакомый ему маленький деревенский колокол, и звук этого часа так глубоко проник в ткань времени и в его душу, что ему показалось, будто он опять мальчик и сейчас конец рабочего дня; и еще прекраснее звенели коровьи бубенчики, будто сзывая сельчан на праздник роз.

Отдельные красно-белые домики уже раз или два качнулись впереди, меж освещенных солнцем древесных стволов. И наконец Вульт увидел издали, у подножия холма, родной Эльтерляйн: – прямо перед ним оказались колокола белой, крытой шифером башни, и похожее на флаг майское дерево, и высокий замок на округлой земляной насыпи, поросшей деревьями, – ниже неогороженное село пересекали почтовые улицы и ручей, по обеим сторонам ручья стояли по-отдельности дома, каждый с собственным почетным караулом из фруктовых деревьев, – вокруг сельца раскинулся потешный военный лагерь из похожих на палатки стогов, окруженных повозками и людьми, а еще дальше приятно обжигали глаза насыщенно-желтые поля рапса, выращиваемого ради пчел и масла.

Спускаясь с этого пограничного холма обетованной земли детства, Вульт услышал, как на лугу, за кустами, знакомый голос произнес: «Люди, люди, не надо так туго спутывать ноги коровам; не говорил ли я вам об этом уже тысячу раз? – Малыш, передай своим домашним:

судья, мол, распорядился, чтобы завтра двое непременно вышли работать на монастырский луг». То был отец Вульта: человек с матовыми глазами, щедедушный, бледнолицый (теплый сенокосный день только посеял в борозды его лица еще одну горсть белых цветковых зерен), который тут же и вышел из-за кустов на дорогу, со сверкнувшей косой на плече. Вульт шагнул в сторону, чтобы остаться незамеченным, и пропустил отца вперед. Потом атаковал его со спины созданными с помощью флейты звучащими парадизами, а именно – поскольку он знал, как любит отец хоралы, – этими самыми хоралами.

Лукас шагал с ленцой, чтобы подольше слышать доносящуюся сзади музыку, – и весь мир был прекрасен. Загорелые крестьянские девушки, черноглазые и белозубые, подносили к бровям серпы, чтобы, несмотря на слепящее солнце, разглядеть проходящего мимо флейтиста-студента, – пастушки, с их бродячими колокольцами, попадались по обеим сторонам дороги – Лукас высморкался, растроганный хоралом, и только строго взглянул на пасущуюся туго стреноженную лошадь – из труб замка, пасторского и отцовского домов поднимались в безветренную прохладную синеву позлащенные столбики дыма...

Так Вульт спустился в уже осененный теньями Эльтерляйн, где когда-то начиналась эта шутовская, закамуфлированная, сновидческая игра, известная всем под названием «жизнь»: этот долгий сон; и где он, укладываясь в постель вместе с этим сном, еще не скрючивался всем телом, поскольку сам в то время был всего лишь мальчишкой-недомерком.

В селе всё прежнее так и оставалось прежним. Большой родительский дом стоял по ту сторону ручья, не изменившийся; белая, выложенная кровельным шифером надпись на фронтоне обозначала год постройки: 1784. Вульт прислонился к гладкому стволу майского дерева и заиграл на флейте, вплетая ее звуки в молитвенный гул: «Тот, кто готов, чтоб Бог решал...» Отец очень медленно – оправдываясь перед собой тем, что нужно, мол, смотреть по сторонам и под ноги, – перешел по мосткам через ручей, вошел в дом и повесил косу на деревянный колышек под лестницей. Мать, еще вполне крепкая, вышла на крыльцо в мужской куртке-безрукавке и, не слыша флейту, вытряхнула из миски ободранные с салата плохие листья; оба, как это принято в деревенских семьях, не перекинулись ни единым словом.

Вульт отправился в ближайший трактир. От хозяина он узнал, что пфальцграф Кноль с Харнишем-младшим сейчас осматривают поля, поскольку посвящение в нотариусы должно состояться лишь вечером. «Превосходно, – подумал Вульт, – к тому времени совсем стемнеет, и я, встав у окна комнаты с хлебной печью, смогу заглянуть внутрь и всё увидеть». Старый Лукас, уже теперь напудренный и в дамастовом цветастом жилете, показался на крыльце и, засучив рукава, принялся точить нож, необходимый для приготовления праздничного ужина в честь важного гостя, который посвятит его сына в нотариусы.

– Само по себе это не спасет парнишку от нужды, – прибавил трактирщик, который был левым. – Старик продал мне свое право производить брантвейн, и сын учился на деньги от перегонного куба. Но лучше бы шультгейс уступил весь дом, и именно разумному шинкарю; черт возьми! туда бы стали стекаться любители пивка, пивной кран процветал бы, как петух в курятнике, и всё происходило бы совершенно естественно. Потому что через большую горницу дома пролегает граница, и там можно было бы устраивать потасовки или заниматься контрабандой, имея при этом крышу над головой.

Вульт не слушал хозяина с тем участливым удовольствием, какое обычно испытывал, внимая подобным рассказам; он сам удивлялся, что столь сильно соскучился по родителям и брату, но особенно по матери: «Такого, – подумал он, – я не замечал за собой на всем протяжении путешествия». Он обрадовался, когда трактирщик схватил его за рукав, чтобы указать на пфальцграфа, который в этот момент как раз входил в дом шультгейса, но – без Готвальта; Вульт поспешил покинуть дом, где находился сам, желая увидеть всё, что будет происходить в доме напротив.

Выйдя, он обнаружил село настолько наполненным сумерками, что ему показалось, будто он сам перенесся в светло-сумеречную пору детства, – и его ощущения, относящиеся к тому времени, запорхали среди ночных мотыльков. Старый любимый ручей Вульт перешел не по мосткам, а вброд, вспомнив, что когда-то собственноручно натаскал туда широкие камни, чтобы ловить с них бычков. Он сделал крюк через другие крестьянские дворы, чтобы приблизиться к родительскому дому сзади, со стороны сада. Очутившись наконец возле окна с вытяжкой от печи, он заглянул в просторную, подвластную сразу двум господам пограничную горницу – там не было ни души, если не считать исходящего криком сверчка; двери и окна стояли распахнутые; но всё казалось вытесанным из камня вечности: красный стол, красные скамьи; выпуклые ложки на специально прибитой к стене деревянной планочке; вокруг печи – каркасы для сушки одежды; низкие потолочные балки, с которых свисают календари и селедочные головы; всё, хорошо упакованное, в целости и сохранности выдержало переправу через Море Долгого Времени и выглядело теперь как новенькое – даже старая бедность.

Он хотел было подольше побыть возле этого окна, но вдруг услышал над собой человеческие голоса и увидел на яблоне отблеск света из верхней комнаты. Он залез на дерево, к которому отец еще много лет назад пристроил лестницу и балкончик, – и теперь мог заглянуть в комнату как бы из собственного гнезда.

Внутри Вульт увидел: свою мать Веронику, в белом кухонном фартуке, – крепкую, несколько располневшую, но здоровую и еще цветущую женщину, которая стояла, устремив безмятежный, пронизательно-вежливый женский взгляд на придворного фискала – этот спокойно сидел, с будто прилипшим к круглой голове длинным черенком трубки, – и отца, напудренного и в праздничном сюртуке; отец беспокойно расхаживал по комнате: отчасти из-за почтительного страха перед гостем, этим внушительным *corpus juris* во плоти, сидящим сейчас в его комнате и в такой же мере надменным по отношению к князьям и вообще всему миру, в какой сам шультгейс всегда отличался робостью; отчасти же – потому что тревожился, как бы упомянутый *corpus* не счел за обиду, что Вальт все еще отсутствует. У того окна, что было ближе всего к яблоне и к Вульту, сидела Гольдина: красивая, как картинка, но горбатая еврейка, опустившая глаза на красный клубок, из которого в данный момент вязала красный же, овечьей шерсти, чулок; Вероника приютила у себя совершенно нищую, но умелую и работающую сироту, потому что Готвальт необычайно любил и хвалил эту девушку, даже называл ее «маленьким драгоценным камнем, нуждающимся в оправе, чтобы не потеряться».

– Я уже послал батрака за своим шалопаем, – поспешно пробормотал Лукас, когда фискал заметил с неудовольствием, что Вальт даже не показал ему отцовские поля, не говоря о полях покойного ван дер Кабеля, а просто поручил это дело одному из Кабелевых барщинных крестьян, сам же с ними не пошел.

Вульт понял, что о таком радостном событии, как завешание, фискал пока не проронил ни слова.

Неожиданно в комнату вошел Готвальт, в плаще-рокероле; он угловато и поспешно поклонился фискалу, после чего застыл посреди комнаты, словно онемев, и только светлые слезы радости катились из его голубых глаз по пылающему лицу.

– Что с тобой? – спросила мать.

– Ах, дорогая мама, – ответил он мягко, – это ничего. Я готов прямо сейчас сдать экзамен.

– И поэтому ты ревешь? – спросил Лукас.

Теперь Вальт поднял глаза и заговорил громче.

– Отец, – сказал он, – сегодня я видел великого человека.

– Да? – холодно любопытствовал Лукас. – И что же, этот великан поколотил тебя, одержал над тобой верх? Поделом!

– Ах, Господи! – воскликнул Вальт; и повернулся к внимательной Гольдине, чтобы повесть свою историю не только ей, но заодно и экзаменатору. Он, мол, обнаружил на холме,

в еловой рощице, остановившийся экипаж; и недалеко от него, на том же поросшем лесом холме, – пожилого человека с большими глазами, который рассматривал красивую местность в лучах заходящего солнца. Готвальт без труда установил сходство этого человека с известной ему гравюрой на меди, изображающей великого немецкого писателя – чье немецкое имя он здесь переведет на греческий, то бишь заменит на имя *Платон*.

– Я, – пламенно продолжал Вальт, – снял шляпу и, всё еще молча, смотрел на него, пока от восторга и любви на глаза мне не навернулись слезы. Если бы он предложил меня подвезти, я бы мог много говорить о нем с его слугами и задавать вопросы. Но он проявил еще большую любезность и приятнейшим голосом обратился ко мне, стал расспрашивать обо мне и моей жизни, о вас, родители; я бы хотел, чтобы моя жизнь была более долгой, и тогда всю ее открыл бы ему. Но я говорил очень коротко: хотелось слушать, что говорит он. Слова, словно медоточивые пчелы, слетали с его цветочных губ; они ранили мое сердце стрелами Амура, но тут же заживляли эти раны медом. Какой чудесный человек! Я чувствовал, как он любит Бога и каждое дитя. Ах, я хотел бы, спрятавшись, смотреть на него, когда он молится; и еще – когда он сам готов заплакать от какого-то большого счастья. – Я сейчас продолжу, – перебил себя Вальт, который так сильно растрогался, что не мог продолжать; однако он все-таки принудил себя говорить – с тем большей легкостью, что, оглянувшись вокруг, никаких особых врагов не нашел.

– Он говорил, – вернулся Вальт к своему рассказу, – самые лучшие вещи. Бог, сказал он, дает через природу ответ, как оракул, – еще прежде, чем прозвучит вопрос; и еще, Гольдина: дескать, то, что нам представляется серным дождем наказания и ада, в конце концов оказывается просто желтой пылью, предвестницей будущего цветения. А еще одно очень хорошее высказывание я совершенно забыл, потому что слишком пристально смотрел в его глаза. Да, ведь вокруг нас мир полнился волшебными зеркалами, и повсюду в небе стояло одно и то же солнце, и на Земле для меня не существовало никакой боли – кроме боли его глаз, столь дорогих для меня. Милая Гольдина, я в тот момент, прямо там же – так я был воодушевлен, – сочинил полиметр: «Двойные звезды являются на небе, как одна звезда; но ты, единственный, расточая себя, превращаешься в целое небо, полное звезд». Тогда он взял мою руку своей очень мягкой, нежной рукой и попросил показать ему наше село; я же набрался дерзости и произнес еще один полиметр: «Смотрите, как красиво всё связано одно с другим: солнце следует за цветком подсолнечника». Тогда он сказал: мол, так же поступает и Бог по отношению к людям, обращаясь к ним чаще, чем они к Нему». Потом он поощрил мое желание заниматься поэзией, но изысканно пошутил по поводу излишней пылкости, от которой, по его словам, я уже завтра отвыкну: чувства, сказал он, это звезды, по которым можно ориентироваться, когда небо безоблачное; разум же – это стрелка магнитного компаса, способного повести корабль еще дальше, даже если звезды скрылись и больше не светят. Так, наверное, звучала последняя часть фразы; но я услышал лишь первую часть, поскольку испугался, что он сейчас сядет в экипаж и мы расстанемся. Тут он дружески посмотрел на меня, как бы в утешение, – и мне показалось, будто откуда-то из вечернего багряного зарева полились звуки флейты.

– Это я вдвухнул их внутрь зарева, – сказал себе Вальт, но слова брата его растрогали.

– Под конец – верьте мне, родители, – он прижал меня к груди и к своим милым устам, а потом коляска покатила прочь, вместе с этим небожителем. —

– И что? – спросил старый Лукас, который до сих пор, учитывая высокий должностной статус Платона, каждую минуту ждал, когда же сын покажет ему туго набитый кошелек, вложенный в его руку великим человеком. – Он так и уехал, не подарив тебе ни пфеннига?

– Ах, как вы можете, отец? – воскликнул Вальт.

– Вы ведь знаете его деликатный нрав... – вмешалась мать.

– Я такого писаку не знаю, – сказал пфальцграф. – Но думаю, что вместо бессмысленных историй, ни к чему хорошему не приводящих, нам следовало бы, наконец, заняться экзаменом, который я просто обязан провести, прежде чем производить кого-то в нотариусы.

– Я готов, – откликнулся Вальт, в своем плаще-*рокероле* делая шаг вперед-и-прочь от Гольдины, чью руку он прежде взял, на глазах у всех, чтобы девушка тоже причастилась к недавно испытанному им блаженству.

№ 8. Кобальтовые цветы Экзамен на звание нотариуса

– Как зовут господина экзаменуемого? – начал Кнолль.

Дело обстояло так, что, во-первых, Кнолль, похожий на сросшихся воедино и окостеневших членов революционного трибунала, можно сказать, навесил на лицо висячий замок курительной трубки и играл здесь главенствующую роль; далее: что Лукас поместил свою голову над столом, подпирая ее руками, словно кариатидами, думая над каждым вопросом, и благодаря такой позе его матовые серые глаза и бескровное лицо ученого – по крайней мере, оно выглядело бескровным из-за покрывающего загорелую кожу мертвящего слоя пудры – оказались очень хорошо освещенными, как и его нескончаемый военный поход под дождем против собственной судьбы; далее: что Вероника, молитвенно сложив на животе руки, стояла очень близко к сыну и переводила смиренный женский взгляд, будто желающий проникнуть в тайны дурацких мужских тайных сообществ, с экзаменатора на экзаменуемого и обратно; и наконец: что Вульт, тихо чертыхаясь, сидел среди незрелых еще плодов дикой яблони, а рядом с ним – поскольку все читатели сейчас тоже заглядывают через окно в комнату – примостились на соседних ветвях все десять немецких имперско-читательских областей, или читательских округов, то бишь много тысяч читателей и душ, относящихся ко всем сословиям, которые, соединившись столь тесно на одном дереве, являют собой довольно-таки смехотворный вид. – Все с великим нетерпением ожидали начала экзамена, но нетерпение Кнолля было наивеличайшим, поскольку он надеялся, что невежественные ответы испытуемого – в соответствии с тайными статьями завещания – на много месяцев отсрочат получение им наследства или причинят наследнику еще худший вред.

– Как зовут господина экзаменуемого? – начал (мы уже это знаем) Кнолль.

– Петер Готвальт, – ответил обычно застенчивый Вальт на сей раз удивительно неприужденно и громко.

Любимый, но улетевший от него богочеловек еще заставлял восторженно вздыматься его грудь; после таких встреч, как и в пору первой любви, все прочие люди хотя и становятся нам ближе и дороже, но словно мельчают в наших глазах. Вальт думал сейчас больше о Платоне, чем о Кнолле и о себе; он мечтал, что наступит час, когда можно будет обсудить недавнюю встречу с Гольдиной. «Петер Готвальт», – так он ответил.

– Нужно еще прибавить: Харниш, – вмешался его отец.

– А как зовут родителей испытуемого, и где он родился? – спросил Кнолль.

Вальт тут же дал исчерпывающие ответы.

– Родился ли господин Харниш в законном браке? – спросил Кнолль.

Готвальт от стыда не смог вымолвить ни слова.

– У нас есть свидетельство о крещении, – вмешался шультгейс.

– Я спросил это только порядка ради, – успокоил всех Кнолль и продолжил расспросы.

– Сколько вам лет?

– Столько же, сколько моему брату Вульту (сказал Вальт): двадцать четыре.

– Двадцать четыре года, – поправил его отец.

– Какого вероисповедания? – Где учились? (И так далее.)

В хороших ответах – пока – недостатка не ощущалось.

– Кого из авторов работ о деловых контрактах читал господин Харниш? – Сколько персон требуется для проведения судебного заседания? – Из каких существенных частей состоит законный судебный процесс?

Экзаменуемый, правда, перечислил самое необходимое, но не упомянул случай с обвинением в непослушании.

– Нет, сударь, тринадцать – о чем сказано даже в *Volkmanno emendato Bieri*, – раздраженно уточнил пфальцграф.

– Читали ли вы указ о нотариате императора Максимилиана, изданный в 1512 году в Кёльне, – не просто часто, но и правильным образом? – прозвучал следующий вопрос.

– Никто не переписывал упомянутый вами указ чище и собственноручнее, чем это делал я, господин пфальцграф! – подал голос шультгейс.

– Кто такие *lytae*? – спросил Кнолль.

– *Lytae*, или *litones*, или *люди* (радостно ответил Вальт; тогда как Кнолль, пока сын шультгейса ошибочно смешивал в одно разные термины, спокойно курил) – так у древних саксов назывались кнехты, которые пока еще владели третьей частью собственности и потому могли заключать контракты.

– Сошлитесь на источник! – распорядился пфальцграф.

– Мёзер, – ответил Вальт.

– Превосходно, – ответил после некоторой паузы фискал и задвинул трубку в угол своего бесформенного рта, походившего теперь на резаную рану, которую ему нанесли, отправив в сибирскую ссылку земной жизни. – Превосходно! Но только *lytae* – совсем не то же самое, что *litones*; *lytae* – это молодые юристы, которые в правление Юстиниана на четвертом году своего учебного курса заканчивали изучение *Пандект*²; и, значит, данный вами ответ свидетельствует о вашем невежестве.

Готвальт смиренно ответил:

– Действительно, я этого не знал.

– Тогда, наверное, вы не знаете и того, что должно быть на чулках, которые император носит во время коронационной церемонии во Франкфурте?

– Выточки, Готвальт, – подсказала из-за его спины Гольдина.

– Конечно, откуда вам знать, – продолжил Кнолль. – Господин Тихсен оставил нам следующее описание, переведенное на немецкий из арабского источника: «Роскошные королевские подвязки».

При упоминании чулочного текста и его переводчика девушка откровенно засмеялась; однако отец и сын почтительно наклонили головы.

Непосредственно после того как Вальт, с дурацким видом и молча, кое-как выбрался из рваной сетки для взвешивания экзаменуемых рыб, пфальцграф перешел к церемонии посвящения. Не вынимая трубку изо рта и не поднимаясь с кресла, он, ко всеобщему изумлению, начал произносить наизусть клятву нотариуса, Вальт же растроганно повторял за ним каждую фразу. Отец почтительно снял шапку; Гольдина отложила чулок. Первая клятва всегда настраивает человека на серьезный лад: ведь ложная клятва это грех перед Святым Духом, поскольку она с величайшей хитростью и наглостью произносится перед тронем нравственного закона.

Далее новый нотариус был сотворен вплоть до последней оконечности тела, с макушки до пяток. Кнолль торжественно вручил ему чернила, перо и бумагу, сказав, что, мол, сим посвящает его в нотариусы. Золотое кольцо было надето на палец Вальта и тотчас снова удалено. Наконец, *comes palatinus* достал из кармана круглую шапочку (*береточку*, так он выразился) и надел ее на голову новоиспеченному нотариусу, присовокупив, что такими же – округлыми и без единой складочки – должны быть в будущем его нотариальные действия.

Гольдина крикнула, чтобы Вальт повернулся; и он обратил к ней и к Вульту пару больших синих невинных глаз, высокий выпуклый лоб, лицо с тонким изгибом губ – сформированное в большей степени внутренним, нежели внешним миром; всё это сидело на несколько покосившемся торсе, который в свою очередь покоился на двух сдвинутых коленных углах; однако Гольдине Вальт показался просто смешным, брат же воспринял его как комедийного

² Heinecc. hist. jur. civ. stud. Ritter. L. I. § 393. – Примеч. Жан-Поля.

персонажа, напоминающего – из-за длинного плаща- нюрнбергского мейстерзингера. Затем Вальту передали персональную нотариальную печать и составленный в Хаслау диплом, удостоверяющий его новое звание; – таким образом Кнолль, с помощью своей трубки, выдул, словно стеклодув, готового к употреблению нотариуса – или, если прибегнуть к другой метафоре, вынул из хлебной печи на лопате новоиспеченного нотариуса, только что принесшего публичную клятву.

Новый нотариус подошел к отцу и, пожав ему руку, растроганно произнес:

– Правда, отец, вам бы следовало увидеть, какие волны. . . . – Больше он ничего не сказал из-за избытка чувств или свойственной ему скромности.

– Помни, Петер, прежде всего о том, что ты поклялся Богу и императору заниматься не только завещаниями, «но, помимо них, больницами и другими необходимыми для нуждающихся персон вещами; а также – способствовать прокладке общинных дорог». Ты знаешь, как плохо в нашем селе обстоит дело с дорогами; что же касается «нуждающихся персон», то ты среди них – самый первый.

– Нет, я хочу быть последним, – ответил сын.

Мать тем временем подала отцу серебряные монеты, упакованные в бумажный сверток: потому что люди предпочитают посеребрить пиллюлю, то есть грубый акт денежного подношения, пусть и с помощью бумаги, – во-первых, из свойственного воспитанному человеку стремления не привлекать внимания к корыстолюбию принимающего такой дар, и, во-вторых, из желания скрыть тот факт, что предложить они могут слишком ничтожную сумму; отец деликатно вложил сверток в уже протянутую волосатую фискальскую руку со словами:

– *Pro rata*, господин придворный фискал! Это, так сказать, хвостовые деньги от нашей коровы и кое-что сверх того. Корову мы продали, чтобы нашему нотариусу было на что жить в городе. Завтра же он поедет туда – на лошади того самого мясника, которому досталась буренка. Денег, конечно, отчаянно мало, но всякое начало дается тяжело: в начале гона собаки обычно еще хромают; и вообще мне не раз приходилось видеть ученых бедолаг, которым в начале карьеры есть было совсем нечего. – Ты, Петер, будь особенно бдительным, ведь как только человек в нашем мире научается чему-то хорошему. . .

– Нотариус, – радостно заговорил Кнолль, сунув деньги в карман (но, прежде чем продолжить, он вынул изо рта трубку и, повернув к свету, долго ее рассматривал), – это, конечно, не бог весть какая птица; их в империи много – этих самых нотариусов, – как сообщает нам имперский указ от 1500-го года, статья XIV; хотя сам я могу лишь посвящать в нотариусы на подведомственной мне территории, документов же никаких не составляю.

– Точно так же некоторые пфальцграфы и некоторые отцы, – тихо сказала Гольдина, – хоть сами и не пишут стихов, зато – создают поэтов.

– Но, между прочим, в Хаслау, – продолжил Кнолль, – очень часто нужно составлять то завещание, то *Interrogatorium*, то *Vidimus*, а иногда – правда, чрезвычайно редко – и *donatio inter vivos*; ну а если молодой человек займется еще и адвокатской практикой. . .

– Мой Петер обязательно займется, – вмешался Лукас.

– И если, – продолжил пфальцграф, – он будет все делать правильно, то есть поначалу с радостью братья за сомнительные процессы, от которых отказываются известные адвокаты, но часто консультироваться с этими последними, вертеться как волчок и не бояться гнуть спину. . .

– Тогда он поистине станет водой, льющейся на мельницу своего родителя, и даже мельничным валом, вращаемым силой ветра: он сможет время от времени подсоблять отцу внушительной суммой, – опять встрял старый Лукас.

– Ах, мама и папа, как бы я хотел когда-нибудь оправдать ваши надежды! – восторженно пробормотал Вальт.

– Бог мой, – гневно воскликнул шультгейс, – на кого же, как не на тебя, можем мы с матерью положиться? Ведь не на мошенника, которого ты так любишь, не на этого бродячего флейтиста, Вульта?

Тут Вульт, сидя на дереве, поклялся, что никогда не покажется на глаза такому отцу.

– Так вот, – Кноль теперь заговорил громче, раздраженный тем, что его постоянно перебивают, – если наш молодой человек поведет себя не как самодовольный дурак или простодушный новичок, а как зрелый муж, чувствующий себя словно рыба в воде в юридической стихии, – и будет во всем следовать примеру своего разумного отца, который, может, лучше него разбирается в праве....

Тут Лукас, ясное дело, не смог сдержаться:

– Господин придворный фискал! Петер действительно лишен отцовского нюха; это меня следовало допустить к изучению права. Бог мой! У меня-то в юности были и соответствующие способности, и лошадиная память, и усидчивость. Плох тот судья, который не является, насколько это в его силах, *одновременно* цивилистом – камералистом – криминалистом – феодалистом – канонистом – и публистом. Я давно сложил бы с себя свою должность – ибо что я с нее имею, кроме годового жалованья в размере трех шеффелей зерна и кувшина с каждой бочки пива, а еще множества упущений и неприятностей, – если бы во всем селе нашелся хоть один человек, способный принять ее и хорошо исполнять. Но разве много сыщется в наших краях шультгейсов, которые, подобно мне, в своем доме соблюдают сразу четыре инструкции для исполнителей этой должности, а именно: те правила, что приняты в старой Готе, курфюршестве Саксонском, Вюртемберге и Волосочёсинге? – И разве я не участвую в каждой книжной лотерее, не добываю таким образом самые толковые книги, среди прочего – «Юлиуса Бернхарда фон Рора полный юридический компендиум по домоводству: с юридическими наставлениями, касающимися как вообще поместий, их покупки, продажи и сдачи в аренду, так и, в частности, земледелия, садоводства, и т. д., и т. д., и прочих экономических материй, как-вые наставления упорядоченно изложены в соответствии со здравым смыслом, имперскими и немецкими законами и являются в высшей степени полезными и незаменимыми для всех тех, кто либо владеет поместьями, либо управляет ими. Второе издание. Лейпциг, 1738. Издано И. К. Маргином, книготорговцем с Гриммише штрассе». И эта книга состоит аж из двух томов, вот посмотрите!

– У меня у самого есть такая, – сказал Кноль.

– Ну так вот! – упоминание книги навело отца на дальнейшие размышления. – Разве судья не должен – подобно кузнецу, подковывающему лошадей, – иметь карманы под рукой, то бишь уже на фартуке, а не только в штанах? О, Боже милостивый, господин фискал, всегда, когда нужно описывать имущество должника – оценивать собственность – предоставлять кому-то жилье – делать бесчисленные устные или письменные оповещения – наращивать венцы колодцев, изгонять из наших краев цыган, следить за порядком на улицах и надзирать за пожарным надзором – или когда в деревнях имеют место эпидемии, беспорядки, мошенничества: тогда судья первым оказывается на месте, а уже потом извещает о случившемся как здешних чиновников, заслуживающих всяческой похвалы, так и, если это необходимо, господ землевладельцев. Что там плохая погода! Судья ведь, в отличие от часов на кафедре проповедника, не может ходить только раз в неделю: он день за днем носится, заглядывая во все дыры и причиняя тем величайший вред собственному хозяйству, – по всем полям и лесам, по всем домам; а после должен еще явиться в город, отчитаться устно и тут же достать из кармана готовый письменный отчет. Потом ко мне подступают крестьяне – лошадные и тягловые, или же безлошадные – и говорят: Лукас, не увиливай! Ты, дескать, проявил небрежность там-то и там-то! – Ох, эти клеветники! разве они не видят, что я, стараясь ради них, сам по уши погряз в долгах, и если в будущем этот нотариус и протоколист не....

– Ну, будет тебе, судья! – оборвала его Вероника и повернулась к фискалу, чьим должником и был ее муж. – Господин фискал, он просто болтает, чтобы хоть что-то сказать. Не желаете ли чего? А после я бы хотела, чтобы вы помогли мне решить один важный вопрос.

Лукас с готовностью замолчал, поскольку уже привык, что в их супружеской сонатине левая рука, то бишь жена, порой прикасается к струнам поверх правой руки, извлекая высочайшие, способствующие гармонии звуки.

– Я бы не отказался хряпнуть стакашок перед ужином, – ответил Кнолль к изумлению Вальта, который не ожидал услышать такое выраженьице, явно из жаргона почтовых кучеров, от человека городского, больше того – придворного чиновника.

Мать Вальта вышла, но вскоре вернулась, неся в одной руке срочное почтовое отправление, содержащее согревающий кровь стихийный огонь, а в другой – толстый манускрипт. Вальт, густо покраснев, взял его из рук матери. Глаза Гольдины восторженно сверкнули.

– Ты должен почтить нам из этого песенника, – сказала Вероника, – а ученый господин пусть выскажет свое мнение – стоит ли тебе заниматься такими вещами. Господин кандидат Шомакер твои стихи очень хвалит.

– И мне тоже они очень нравятся, правда, – поддержала ее Гольдина.

Тут в комнату вошел кандидат Шомакер собственной персоной; отвесил глубокий поклон одному лишь фискалу и поприветствовал его с восторженным блеском в глазах. Кандидат сразу сообразил, что, судя по всем признакам, радостная весть о завещании в этой комнате еще не была озвучена.

– Ты опоздал, – сказал Лукас, – великолепная церемония уже полностью завершилась.

Кандидат стал пространно объяснять, почему смог выбраться из города лишь ко времени вечернего богослужения.

– Я здесь стою, – сказал он, с удовольствием глядя в лицо шультгейсу (и довольный тем, что не должен сейчас смотреть на такого благородного, но внушающего ему опасения господина, как Кнолль), – точнее, простоял здесь внизу, во дворе, целую четверть часа, не осмеливаясь войти, из-за пятерых гусей, которые загородили проход и грозили мне клювами и растопыренными крыльями.

– Да нет же, их было шесть! – вмешалась насмешливая еврейка.

– Может, и шесть, – согласился кандидат Шомакер. – Но, как я читал, достаточно даже одной гусыни, чтобы посредством яростного укуса заразить человека бешенством и водобоязнью.

– Ах, *да!* – повернулся он к Вальту (это единственное, что он знал по-французски). – Ваши полиметры!

– А это еще что такое? – поинтересовался Кнолль, допивая шнапс.

– Господин граф (первую половину титула, «пфальц», Шомакер на сей раз опустил), речь на самом деле идет о новом изобретении этого юного кандидата, моего ученика: он сочиняет стихотворения со свободным размером, которые состоят, каждое, из одного-единственного, но свободного от рифмы стиха; и автор, по своему усмотрению, может удлинять такой стих, даже растягивать его на целые страницы или печатные листы; сам он называет их *длиннотиишиями*, я же предпочитаю название *полиметр*.

Вульт, затаившийся между яблоками, выругался от нетерпения. Вальт наконец встал, держа в руках манускрипт и развернувшись выпуклым лбом и прямым носом в профиль: так, что свет освещал его сзади; неопишимо долго и по-дурацки перелистывал он страницы в поисках фронтисписа своего храма муз – кандидат Шомакер тем временем, сунув руку за лацкан жилета, а другую в карман брюк, на три длинных шага приблизился к окну, за которым прятался Вульт, чтобы, свесившись через подоконник – сплунуть вниз. Запинаясь от смущения, но произнося слова каким-то крикливым, необученным голосом, поэт приступил к декламации:

№ 9. Серный цвет Длинностишия

– Право, не знаю, не могу найти подходящего стихотворения, придется читать наудачу:

«Отражение Везувия в море

“Смотрите, как мечутся внизу, под звездами, языки пламени, а багряные потоки тяжело перекачиваются вокруг горы в глубине, пожирая прекрасные сады. Но мы, невредимые, скользим над этим холодным огнем, и собственные наши отражения улыбаются нам из горячей волны”. Эти слова произнес, не без удовольствия, шкипер; и тут же встревоженно поднял глаза на самую гроыхающую гору. Но я сказал: “Смотри, так же и Муза легко несет в вечном зеркале тяжелые горести нашего мира, и несчастливцы заглядывают в это зеркало, но и им доставляет удовольствие такая отраженная боль”».

* * *

– Почему этот странный человек плачет, если он сам же всё для себя выдумал? – воскликнул Лукас.

– Потому что он блаженный, – сказала Гольдина, но не угадала: ведь слезы Вульта свидетельствовали лишь о волнении, которое совсем не обязательно бывает восторженным или печальным, – свидетельствовали о волнении как таковом. Теперь он прочитал вот что:

«Детский гроб на руках

Как хорошо: не только ребенка легко качают те руки, но и его колыбель.

Дети

Вы, малыши, стойте близко к Богу: ведь и Земля, самая малая из планет, для Солнца – ближе всех прочих.

Смерть во время землетрясения³

Юноша стоял возле задремавшей возлюбленной, в миртовой роще, а вокруг девушки спало небо, и земля затихла – птицы молчали – сам Зефир задремал в ее волосах, похожих на лепестки роз, и ни один локон не шевелился. Но море, живое, приподнялось, и волны уже стягивались в стада. “Афродита, – взмолился юноша, – ты сейчас близко, твое море мощно волнуется, и земля затаилась в страхе; услышь же меня, царственная богиня: соедини любящего – навеки – с его любимой”. Тогда священная земная поверхность незримыми сетями опутала его стопы, мирты наклонились к нему, земля загрохотала, и ее врата распахнулись перед ним. – И внизу, в Элизиуме, проснулась возлюбленная, и блаженный юноша стоял перед ней, потому что богиня услышала его просьбу».

* * *

Вульт в яблонево́й листве сильно выругался – от чистой радости: его душа, в других случаях легко захлопывающаяся, сейчас распахнулась для муз. «Дорогой Готвальтхен! тебе одному предстоит узнать меня; ибо, клянусь Господом, это уже начинается, он сделает это для

³ Как известно, перед землетрясением воздух обычно бывает неподвижным и только море волнуется. – *Примеч. Жан-Поля.*

меня. О небо! как же удивится робкий божественный шут, когда я ему всё расскажу», – сказал себе Вальт, уже имея в виду некий новорожденный план.

– Должен отметить, – сказал Шомакер, – что юноша не без пользы для себя изучал под моим руководством авторов антологии.

Поскольку Кнолль ничего не ответил, отец попросил:

– Читай дальше!

И Вальт стал читать слабым голосом:

«У горящего театрального занавеса

Новые радостные пьесы показываешь ты обычно, медленно взмывая вверх. Но сейчас тебя стремительно поглощает голодная пламя, и сцена радости кажется сумбурной, злосчастной, окутанной дымом. Пусть медленно вздымается и опускается занавес любви, но пусть он никогда не упадет – навечно, как раскаленный пепел, – вниз.

Ближайшее солнце

За солнцами покоятся другие солнца в последней синеве; их чуждые лучи уже много тысячелетий свершают путь к маленькой Земле, но все не могут приблизиться к ней. О ты, ласковый, близкий Бог: едва человеческий дух приоткрывает свой маленький юный глаз, ты уже сияешь для него, о Солнце всех солнц и духов!

Смерть нищего

Однажды старый нищий заснул рядом с бедным человеком и часто стонал во сне. Тогда бедняк громко вскрикнул, желая пробудить старика от кошмарного сна, чтобы ночь не давила на его и без того усталую грудь. Нищий не проснулся, только отблеск лунного света пробежал по соломе; тут бедный человек взглянул на соседа и увидел, что тот уже умер: Бог пробудил его от совсем долгого сна.

Старые люди

Они, конечно, длинные тени, и их вечернее солнце лежит, холодное, на самой земле; но все они, словно стрелки часов, обращены в сторону утра.

Ключик от гроба

“Мое прекраснейшее, любимое дитя, накрепко запертое внизу, в глубинном темном доме, я буду вечно хранить ключ от твоей темницы, но никогда, никогда не смогу ее открыть!” – Но тут на глазах у горящей матери ее дочь, прелестная как цветок и сверкающая, начала подниматься к звездам и крикнула сверху: “Матушка, брось этот ключ, я ведь наверху, а не внизу!”»

№ 10. Зловонное дерево Поединок каплунов-прозаистов

– О небо, скорей бы уж наступило завтра, дорогой брат! Это проклятье, что всегда приходится приспособливаться, – пробормотал Вульт.

– С меня довольно, – сказал Кноль, который прежде, во время чтения, медленно выпускал одно за другим равновеликие облачка табачного дыма.

– Я, со своей стороны, – подвел итог Лукас, – ничего для себя извлечь из этих стихов не смог: они мне кажутся какими-то бесхвостыми, – а ты что скажешь?

– Там высказаны благочестивые и печальные мысли, – откликнулась мать.

У самого Готвальта голова и уши еще были окутаны золотой утренней дымкой поэтического искусства, а где-то за пределами этой дымки – так ему представлялось – пребывал далекий Платон, как солнечный шар, и согревал ее своими лучами. Кандидат Шомакер пристально смотрел на пфальцграфа и ждал от него решений. Как человек, привыкший к религиозной свободе, он полагал, что совершает грех всякий раз, когда чересчур торопится и на что-то отваживается. Потому-то кандидату и не хватало хирургического мужества, чтобы как следует пороть учеников – его пугали возможные переломы, травматические лихорадки и тому подобное, – и он предпочитал воздействовать на своего воспитанника издалека, строя ему из соседней комнаты ужасные рожи.

– Мое мнение, – начал Кноль, грозно насупив темные кущи бровей, – если говорить совсем коротко, сводится к следующему: подобные вещи – поистине пустая трата времени. Я вовсе не презираю стихи – если они написаны на латыни или, по крайней мере, зарифмованы. Я сам, когда еще был желторотым юнцом, занимался подобными фокусами и – поверьте, я себе не льщу – мог сочинить кое-что получше. Да, как *comes palatinus* я собственноручно посвящаю в поэты и уж тем более могу полностью отвергнуть претендента на это звание. Обладатели денежных капиталов или владельцы дворянских поместий – те действительно, от нечего делать и от обеспеченной жизни, могут сочинять или читать стихи, сколько им захочется; но не серьезный человек, который освоил хорошую солидную дисциплину и желает сделаться разумным юристом, – такой человек должен презирать поэзию, и особенно стихи без всякой рифмы и размера, каких я за час настрогаю тысячу штук, если потребуется.

Вульт между тем молча наслаждался мыслью, что в Хаслау он уж как-нибудь найдет время и место, чтобы в награду пфальцграфу приготовить для него благословенное купание в кипящей воде и раскаленном подсолнечном масле. И все-таки он едва сумел сдержать гнев, когда подумал, что кандидат и пфальцграф уже так долго находятся здесь, а о радостной вести – о завещании – до сих пор не упомянули. Если бы он мог видеть и писать в темноте, он бы обернул камень листком с таким известием и отправил бы его, как нежную голубиную почту, в полет через окно.

– Слышал? – спросил сына Лукас. – Твои стихи еще и написаны некрасивым почерком, как я вижу. – И он, перевернув несколько листов, сделал попытку поднести манускрипт к горящей свече. Однако поэт, который до сих пор, опустив голову, неотрывно смотрел на пламя свечи, внезапно протянул руку и вырвал у него рукопись.

– Но в свободные часы можно же заниматься чем-то таким? – спросил Шомакер, в чьих глазах уже сам титул *придворный фискал* соединял в себе сдвоенного Рупрехта и мушкет, сиречь «двойную аркебузу»; ведь стоило ему увидеть словечко *придворный* или приставку *лейб-* – пусть даже речь шла всего лишь о придворном литавришке или лейб-форейторе, – и он, восприняв это как своего рода «шлемоголовый пролог» (*praefatio galeata*), страшно пугался; насколько же больше должно было ужасать его слово *фискал*, грозящее любого человека посадить на кол или заключить в башню.

– В свои свободные часы, – ответил Кнолль, – я читал все юридические документы, какие только мог раздобыть, благодаря чему, вероятно, и сумел стать тем, кто я есть. Увлечение же высокопарными пустыми фразами, напротив, приведет к тому, что в конце концов они проникнут в стиль деловой переписки юриста и совершенно ее отравят; любой суд такие документы отошлет обратно как непригодные.

– Тогда понятно и простительно, – начал Шомакер, как бы добровольно налагая на себя оковы, – что я, по причине своего невежества в правоведении, хотел объединить это последнее с поэзией; однако отсюда же с большой вероятностью следует, что господин Харниш – теперь, когда он с еще большим пылом посвятит себя единственной избранной им дисциплине, – от поэзии совершенно откажется: не правда ли, так оно и будет, господин нотариус?

Тут молодой человек, прежде такой деликатный, фыркнул – увидев, как учитель, всегда его хваливший, вдруг от него отсекся ради низкопоклонства перед придворным и теперь, словно бритва в руках цирюльника, кланяется то вперед, то назад (хотя Шомакер просто не был способен вот так на месте, быстренько, перед лицом служителя трона и при той любви к собственному ученику, что таилась у него в сердце, изобрести новое отношение к праву, тем более что и всегда немного боялся невольно учинить бунт против своего князя, – вообще же, придавая большое значение справедливости, охотно выступил бы против любой беды и насилия), – итак, деликатный Вальт фыркнул как раненый лев, подскочил к кандидату, ухватил его обеими руками за плечи и крикнул из глубин давно истерзанной груди столь громко, что его учитель, словно опасаясь смертельного удара, подпрыгнул:

– Кандидат! Клянусь Богом, я стану хорошим и прилежным юристом, ради моих бедных родителей. Но, кандидат, пусть удар грома расщепит мое сердце и пусть Всевышний зашвырнет меня к самому жаркому демону, если я когда-нибудь откажусь от длиннотиший и от небесного искусства поэзии.

Тут Вальт с диким вызовом посмотрел вокруг себя и весомо добавил:

– Я буду продолжать стихотворствовать.

Все удивленно молчали – в Шомахере теплилась еще лишь половинная жизнь – Кнолль демонстрировал лютую железную улыбку – а Вальт на своей ветке тоже впал в одичание, воскликнул: «Правильно, правильно!» и вслепую схватился за незрелые яблоки, желая бросить целую горсть таковых в участников прозаического собрания. – Но тут новоиспеченный нотариус, как победитель, вышел из комнаты, и Гольдина последовала за ним, бормоча: «Так вам и надо, скучные прозаисты!»

Вопреки ожиданиям Вальта нотариус встал под его яблоней и поднял к звездной стороне жизни, к небу, одухотворенное лицо, на котором можно было пересчитать все его стихотворения и грезы. Флейтист едва не упал сверху, как мягкая перина, на израненную братскую грудь: он с радостью поднял бы эту славную, повлажневшую от слез певчую птицу – с коей судьба обошлась как с жаворонком, который устремился к поверхности Мертвого моря, как если бы это была цветущая земля, и теперь тонет в нем, – поднял бы ее высоко, к иссушающему всякую влагу солнцу; однако появление Гольдины воспрепятствовало прекрасной сцене взаимного узнавания: девушка взяла Вальта за руку, но тот все еще смотрел оглохшими глазами ввысь, где стояли только светлые звезды и не было никакой мрачной Земли.

– Господин Готвальт, – обратилась к нему Гольдина, – не думайте больше об этих прозаических идиотах! Они вас отчехвостили. Но этому юристу я еще сегодня подсыплю перцу в табак, а кандидату – табаку в перец.

– Нет, дорогая Гольдина, – заговорил Вальт мучительно мягким голосом, – нет, я сегодня не заслужил того, чтобы великий Платон меня поцеловал. Возможно ли такое? – О Боже! Ведь это должен был быть радостный прощальный вечер. – Дорогие родители отдают тяжело доставшиеся им деньги, чтобы я стал нотариусом, – бедный кандидат с самого моего детства дает мне уроки чуть ли не по всем дисциплинам – Бог благословляет меня небесным блаженством, поз-

воля припасть к груди Платона – и после всего этого я, сатана, устраиваю такую адскую сцену ярости! О Боже, Боже! – Но как же подтвердилась, Гольдина, моя старая мысль: что за каждым подлинным переживанием сердечного блаженства обязательно следует тяжкое несчастье.

– Я так сразу и подумала, – гневно сказала Гольдина. – Если бы вас распяли на кресте, вы бы оторвали от поперечной балки прибитую гвоздем руку, чтобы пожать руку распявшему вас солдату. – Что-то я не пойму: вы или соломенные головы там наверху испортили нам сегодня винный месяц, превратив его в винно-уксусный?

– Я, – ответил он, – на самом деле не знаю никаких других несправедливостей кроме тех, которые сам я причиняю другим; несправедливости же, совершаемые другими по отношению ко мне, никогда не представляются мне – поскольку я не знаю мотивов тех, кто их совершает, – однозначными и решающими. Ах, заблуждений, проистекающих от ненависти, куда больше, чем заблуждений, обусловленных любовью! Если бы существовал человек, чья натура представляла бы собой полный диссонанс и антитезу к моей натуре (как существуют антитезы для всего на свете): то он спокойно мог бы со мной встретиться; и поскольку я точно так же диссонировал бы с ним, как он со мной, у меня было бы не больше поводов жаловаться на него, чем у него – на меня.

У Гольдины, как и у Вульта, не нашлось, что возразить против таких рассуждений, хотя на обоих они произвели крайне гнетущее впечатление. Но тут мать мягко позвала сына; и отец тоже позвал, гораздо громче: «Беги скорей сюда, Петер! Мы, оказывается, упомянуты в завещании, и предварительное решение будет принято уже 15 числа сего месяца».

№ 11. Желтинник Радостный хаос

Пфальцграф немного разрядил атмосферу всеобщей неловкости, сгустившуюся после стремительного побега Вальта, сказав: мол, ваш *sansfagon* не заслуживает того, чтобы быть упомянутым в важном завещании, на оглашение которого он, пфальцграф, собирался его пригласить и которое как раз не очень согласуется с рифмоплетством. Теперь будто повернулось колесо, обеспечивающее удар молоточков в башенных часах, будто законным образом была снята заглушка с учительской души, полнящейся звуками и словами, – и учитель смог наконец ударить во все колокола: он ведь знал и теперь пересказал самые приятные клаузулы завещания, а фискал только подтвердил правдивость рассказа, когда дополнил его неприятными подробностями. Кандидат обычно так долго проявлял необычную мягкость после любой нанесенной ему обиды, пока его не просили эту обиду простить. Лукас уже – прислушиваясь лишь наполовину – звал, точно обезумев, Вальта, потому что не находил никаких других слов.

Наконец появился молодой человек, с нежным румянцем стыда на щеках; на него, однако, не обратили внимания: все, за исключением Кнолля, заглядывали в завещание. Этот последний с момента, когда Вальт начал читать вслух свои стихи, испытывал к молодому человеку настоящую ненависть – ведь если у соловьев музыка вызывает желание петь, то собак она провоцирует на вой; ибо то обстоятельство, что столь плохой, увлекающийся поэзией юрист должен унаследовать больше, чем он сам (эта мысль неотступно грызла ядро фискаловой личности), расстраивало его больше, чем утешало другое: что при всем своем корыстолюбии он не нашел бы наследника, больше, чем Вальт, предрасположенного к тому, чтобы проворонить собственное наследство.

Вальт растроганно слушал повторение и продолжение рассказа о наследственных обязанностях и частях наследства. Теперь, когда до ушей Лукаса донеслись слова об «11 000 георгдоров, вложенных в берлинскую лавку заморских товаров», а также об «обоих барщинных крестьянах в селе Эльтерляйн и соответствующих земельных участках», лицо шультгейса, на которое вдруг повеял южный зефир счастья, от изумления как бы растаяло, и он переспросил: «Пятнадцатого числа? Одиннадцать тысяч?» – А потом отбросил прочь через всю комнату свою шапку, которую прежде держал в руке, и спросил еще: «В этом месяце?» – А потом запустил пивной кружкой в дверь комнаты, едва не угодив в голову Шомакеру.

– Судья, – прикрикнула на него жена, – да что это с вами?

– Я так проявляю свою *Gaudium*, – сказал он. – Пусть теперь какая-нибудь собака из города попробует вякнуть, что я хочу украсть ее блох: эта скотина получит от меня хороший пинок. Нас всех, сидящих сейчас здесь, возведут в дворянское достоинство, и я по-прежнему буду судьей, но уже в дворянском звании, – или я стану судебным управляющим и смогу получить образование. А на земельных участках, доставшихся мне от Кабеля, я буду сажать исключительно рапс.

– Мой друг, – с досадой перебил его фискал, – вашему поэтичному сыну – прежде, чем всё это исполнится, – предстоит раскусить несколько твердых орешков, ведь наследником-то является он.

Тут нотариус со слезами радости на глазах шагнул к обделенному наследством фискалу и потянул на себя его неподатливую руку, говоря:

– Поверьте, посланец радости и евангелист, я сделаю всё, чтобы получить это наследство, всё, чего вы потребовали («Чего вы от меня хотите?» – прошипел в этот момент Кнолль, отдергивая руку): ибо я буду делать это ради людей (продолжил Вальт, обведя глазами всех прочих), которые, со своей стороны, сделали для меня еще больше; может, и ради брата, если он еще жив. Разве условия не очень просты, и разве не прекрасно последнее из них – требую-

щее, чтобы я стал пастором? – Как же добр этот ван дер Кабель! Почему он так добр к нам? Я живо помню его, но раньше мне казалось, что он меня недолюбливает. Но я, кажется, читал ему свои длиннотишия. Так разве могут наши мысли о людях быть слишком хорошими?

Вальт засмеялся и сказал:

– Едва ли!

Вальт совершенно по-дурацки, стыдясь себя, подошел к Шомакеру со словами:

– Не исключено, что я обязан этим завещанием именно поэтическому искусству – а уж знанием поэтического искусства я определенно обязан своему учителю, который пусть простит мне недавние неприятные минуты!

– Забудем же, – откликнулся тот, – что вы только что даже не назвали меня господином учителем, чего требуют обычные правила вежливости. Но теперь пусть царит радость! – Что же касается вашего господина брата, о котором вы вспомнили, то он все еще жив и даже процветает. Некий бойкий господин ван дер Харниш не так давно заверял меня в этом, но потом втянул в nepозволительную болтовню о вашем семействе, из-за чего я так же мало заслуживаю вашего прощения, как вы – моего!

Тут нотариус крикнул на всю комнату, что его брат, оказывается, жив.

– Упомянутый господин встретил вашего братца в рудных горах, в городке Эльтерляйн, – сказал Шомакер.

– О Господи, тогда он наверняка появится здесь еще сегодня или, на худой конец, завтра, дорогие родители! – восторженно крикнул Вальт.

– Пусть только попробует! – возмутился шультгейс. – Я этого бродягу на порог не пущу: скорее сам подрежу ему ноги косою и заставлю насмерть подавиться диким яблочком!

Но Готвальд уже шагнул к Гольдине, которая, как он видел, заплакала, и сказал:

– О, я знаю, о чем вы думаете, моя хорошая. – После чего тихо прибавил: – О счастье вашего друга.

– Так оно и есть, клянусь Господом! – ответила девушка и подняла на него еще более восторженные глаза.

Мать не смогла удержаться от короткого замечания: что ее душа уже очень часто обманывалась подобными слухами о возвращении славного дитятки; после чего обратилась к раздосадованному фискалу и принялась дружелюбно расспрашивать его обо всех неприятных клаузулах, содержащихся в завещании. Но пфальцграфа настолько раздражал этот праздник радости (оплаченный, как он считал, его собственной наследственной долей), что в конце концов он поспешно поднялся с места, потребовал, от имени чиновника ратуши, полагающуюся в таких случаях пошлину и лишил ликующих мужчин надежды разделить с ним праздничный ужин: потому что, как он выразился, он лучше поужинает напротив, у трактирщика, который задолжал приличную сумму еще его отцу, из-за чего пфальцграф уже много лет – всякий раз, когда приезжает по судебным делам в это село, – старается побольше съесть и выпить в счет старого долга, чтобы таким образом мало-помалу ликвидировать задолженность.

Когда он ушел, Вероника поднялась на свою женскую кафедру и обратила к мужчинам пламенную проповедь, или инспекционную речь: они, дескать, проявили неучтивость, когда фискал объявил им о предстоящем получении капитала, – ведь их ликование наверняка раздосадовало пфальцграфа, который сам исключен из числа наследников.

– Но сейчас-то кто получил выгоду, он или я? Он! – сказал Лукас.

Шомакер же стал рассказывать, что воскресный проповедник Флакс уже получил целый дом на Собачьей улице, ранее принадлежавший Кабелю, – оплатив это приобретение всего лишь недолгим плачем.

Тут опечаленный шультгейс вскочил с места и заверил всех, что упомянутый дом, можно сказать, украден у его сына: потому что плакать умеет каждый; Вальт же сказал: дескать, его

утешает – и помогает смириться с обрушившимся на него счастьем – то обстоятельство, что еще один бедный наследник тоже хоть что-то получил. Вероника оборвала его:

– Ты сам еще ничего не получил. Хотя я всего лишь женщина, но и от меня не укрылось, что по всему тексту завещания разбросаны какие-то подвохи. Еще с позавчерашнего дня чужие господа, понаехавшие из города, распространяли в нашем селе слухи о завещании; но я решила ничего об этом не говорить своему судье. Ты, Вальт, слишком неопытен в житейских делах; и вполне может получиться так, что незаметно пролетят десять лет, а ты и не получишь ничего, и останешься никем; что тогда будет, а, судья?

– Я его своими руками прибью, – сказал Лукас, – до смерти: если окажется, что он настолько глуп: хуже скотины; а с твоей стороны, Вронель, тоже было не очень умно не поставить меня в известность.

– Я готов поручиться, – сказал Шомакер, – что господин нотариус обладает утонченным умом. Поэты – хитрые лисы, которые держат нос по ветру. Некто Гроциус, философ, был дипломатическим посланником – некто Данте, поэт, был государственным деятелем – Вольтер же был и философом, и поэтом, а в своей деятельности тоже объединил то и другое.

Вульт засмеялся – но не над словами учителя, а над добросердечным Вальтом, который мягко прибавил:

– Я, может, почерпнул из книг больше жизненного опыта, чем вы, дорогая матушка, готовы поверить. – Но что нас ждет через два года, о всемогущий Боже! – Давайте сегодня хотя бы мысленно нарисуем себе это благословенное время, когда все здесь присутствующие заживут свободно и радостно; сам же я ни в чем не буду нуждаться и ничего для себя не буду желать, поскольку и без того стану чрезмерно счастливым, обосновавшись сразу на двух старинных священных высотах: на пасторской кафедре и на горе Муз.

– Ты тогда, – сказал Лукас, – наверняка будешь сочинять длиннотишия целыми днями, потому что ты помешан на них не меньше, чем я, твой отец, – на юриспруденции.

– Но теперь я буду очень усердно, – сказал Вальт, – заниматься нотариальной практикой: тем более, что это и есть первая предписанная мне наследственная обязанность; зато об адвокатуре отныне можно не думать.

– Гляньте-ка! – крикнула его мать. – Он опять думает только о своих длинных стихотворных строчках; он недавно и соответствующую богохульную клятву принес – я, Вальт, этого не забыла!

– Так я ведь этого и хотел, разрази меня гром! – возопил Лукас (хотевший, чтобы ничто сейчас не мешало его чистой радости). – Неужели нужно из каждого слона делать муху, как поступаешь ты? – Он собирался сказать прямо противоположное. Но все-таки, как супруг, не удержался от обидного: «Молчи!» – Вероника тотчас подчинилась, решив про себя, что после еще возьмет свое.

Все расселись за праздничным столом, кто в чем был; Вальт – в своем длинном плаще с прилипшими к нему соломинками, поскольку хотел поберечь парадный сюртучок из китайки. У Гольдины вино радости было сильно разбавлено слезами, пролитыми в связи с предстоящей – уже на следующий день – разлукой. Нотариус же бесконечно восторгался восторженностью своего отца, который мало-помалу, немного переварив ее, пришел в более мягкое расположение духа и начал гоняться с транширным ножом и вилкой за жареной голубкой наследства, пока еще летающей в небе; Лукас даже впервые в жизни сказал сыну: «Ты мое счастье!» Эти слова Вульт еще услышал, сидя на дереве. Но когда его мать захотела прижать к своей теплой груди все подробности, которые Шомакер знал о беглом флейтисте, он поспешно слез с яблони, чтобы ничего не слышать: поскольку упреки казались ему более горькими, чем хвала – сладкой; и вообще он был уже достаточно осчастливлен встречей с повзрослевшим братом, чье простодушие и приверженность поэтическому искусству опутали Вульта столь крепкими

любовными узами, что он охотно утопил бы ночь в вечернем багрянце: лишь бы поскорей увидеть новый день и обнять поэта.

№ 12. Ложная винтовая лестница Конный портрет

Ранним росистым голубым утром нотариус уже стоял у дверей родительского дома, готовый к верховой езде и к путешествию. Вместо длинного плаща он надел хороший желтый летне-весенний сюртук из китайки, потому что, как универсальный наследник, мог теперь позволить себе не очень скупиться; на голове у него была круглая белая, с бурыми пламенеющими разводами, шляпа; в руке – скаковой стек; а в глазах – детские слезы. Шультгейс крикнул «Стой!», бросился в дом и тотчас опять выскочил с «Указом о нотариате» императора Максимилиана, сунул эту брошюру в карман сыну. По другую сторону улицы, перед трактиром, стояли пронырливый студент Вульт, в тесно облегающих штанах и зеленой дорожной шляпе, и сам трактирщик, который был, можно сказать, потомственным Антихристом и левым. Сельчане уже обо всем проведали и внимательно следили за происходящим. Универсальному наследнику предстояла первая конная прогулка в его жизни. Вероника – которая все утро давала сыну наставления касательно церемонии обнародования завещания и выполнения его условий – с трудом вывела на длинном поводу из конюшни белую конягу. Вальту предстояло на нее взобраться.

О конной поездке и о самой кляче люди уже много чего наговорили – в Эльтерляйне хватало охотников создать жалостный конный портрет, да только на холст они могли нанести разве что грубые исходные пигменты, а не их тончайшие производные, – для меня это тоже первое значимое анималистическое полотно, которое я вывешу и выставлю в галереях создаваемого мною произведения – поэтому я приложу все усилия и постараюсь добиться величайшей правдивости и вместе с тем пышности изображения.

Конь бледный, старый и покрытый плесенью, так долго обретался в Апокалипсисе, пока на него не взобрался мясник и не перескочил на нем в наше время. Для коня-бедолаги далеко позади остались те восторженные вёсны, когда он нес на себе свою плоть, а не чужую, и под седлом еще не истерлась его собственная шерсть; слишком долго пришлось ему терпеть жизнь и человека – эту скачущую верхом пыточную кобылу для израненной природы. Нотариус (существо, будто сотканное из подрагивающих чувствительных усиков насекомых), который накануне, в конюшне, долго ходил вокруг коня и рассматривал запечатленную на нем клинопись времени – эти стигматы, оставшиеся от шпор, седла и трензелей, – ни за какие деньги не согласился бы вложить персты в его раны, не говоря уж о том, чтобы на следующий день обрушить на него лезвие кнута или вонзить ему в бока кинжалы шпор. О, если бы небо даровало тем животным, что являются конфедератами человека, хоть какой-то стон боли: чтобы человек, у которого сердце определено помещается в ушах, сжалился над ними! Каждый человек, ухаживающий за животным, становится для этого животного мучителем; хотя он поистине ведет себя с ним как мягкошерстный ягненок в сравнении с тем, как, например, охотник относится к своей лошади, извозчик – к охотничьей собаке, а офицер – ко всем людям, кроме солдат.

Итак, этот бледный конь утром вступил на подмостки мирового театра. Нотариус еще накануне крепко привязал коня к одной из своих мозговых стенок и – как *правая* сторона *Конвента* и *Рейна* – дальше все время почему-то представлял себе только *левую* сторону, которую ему предстоит одолеть; в своих четырех мозговых камерах он вертел эту учебную воображаемую лошадку и ставил ее по-всякому, быстро вскакивал на нее с левой стороны и в результате совершенно заездил себя самого ради клячи. Теперь эту клячу привели и поставили перед ним. Готвальт не сводил взгляда с левого стремени, но собственное «я» вдруг показалось ему не вмещающимся в собственное «я», а слезы – слишком темными для глаз; ему предстоит, внезапно подумал он, скорее вознестись на некий трон, нежели подняться в седло, – он все еще крепко держался за левый бок сивки; но теперь перед ним возникла новая задача: каким

образом так соединить с лошадыю собственную левую ногу, чтобы и его лицо, и лошадиная морда одинаково смотрели вперед.

К чему эти дьявольские муки! Он попытался, как прусский кавалерист, запрыгнуть на коня справа. И если люди наподобие Вульта и трактирщика присвистнули, глядя на его пробу, они тем самым лишь показали, что никогда не видели, как усердно прусские кавалеристы учатся вскакивать на лошадь, ставя ногу в правое стремя – чтобы быть во всеоружии, если левое перебьет пулей.

Оказавшись в седле в роли собственного квартирмейстера, Вальт столкнулся с целым рядом проблем: он должен был всё упорядочить (то есть придать себе прямую осанку и прочное положение в седле), распределить (собственные пальцы на поводьях, фалды сюртука на спине лошади), разместить (носки сапог в стремях); и, наконец, приступить к главному – к прощанию с домашними и выезду.

На последнее умудренная жизнью лошадь упорно не соглашалась. Вальт деликатно щелкнул клячу стеклом, но та и ухом не повела – как если бы ее пощекотали конским волоском. Пару материнских шлепков по шее лошадь восприняла как ласку. В конце концов судья перевернул вилы и рукоятью нанес сивке несильный рыцарский удар по крупу, чтобы таким образом отправить своего сына как новоиспеченного рыцаря из деревни в большой мир учености и красоты. Для коня такой жест стал внятным знаком, побудившим его прошествовать шагом до ручья; там он остановился перед образом рыцаря, выпил это зеркальное отражение; и, поскольку нотариус, сидевший сверху, с неописуемыми систолами и диастолами колотил его пятками и стремями по бокам (тогда как половина села, не говоря уже о трактирщике, откровенно потешалась над юношей), рысак признал допущенную им ошибку и доставил Вальта от водопоя обратно к дверям конюшни, существенно ограничив свободу движений неумелого всадника.

– Ну, погоди! – пригрозил отец рысаку, кинулся в дом и, вернувшись, протянул сыну ружейную пулю со словами: – Вложи ему в ухо, и я ручаюсь, что ленивая тварь побежит как миленькая – потому, наверное, что свинец холодит.

Едва скакуна, словно пушку, развернули головой к воротам и зарядили ему ухо скоростной пулей: как он рванул за ограду и устремился прочь; и через усеянное любопытными глазами село, прочь от Шомакерова пожелания удачи, полетел, сидя на сивке, сам нотариус – как олицетворение наконец отлившейся в изложницу первой попытки, напоминая собой изогнутую запятую. «Он уже далече!» – с облегчением вздохнул Лукас и отправился к копнам сена. Мать молча смахнула подолом фартука слезы с глаз и спросила рослого работника, а чего он-то ждет и на что глазеет. Гольдина приложила платок только к *одному* плачущему глазу, другим же всмотрелась вдаль и сказала: «С ним все в порядке!», – после чего медленно поднялась по ступенькам в опустевшую учебную комнатку Вальта.

Вальт поспешил – пешком – вслед за скачущим на коне братом. Но когда он проходил мимо майского дерева и увидел в окне Гольдину, ее чудные глаза, а в садике возле дома – заплаканную мать, которая, сидя на корточках с согбенной спиной, подвязывала к колышкам фасоль и чеснок: тогда его сердце внезапно захлестнула горячая и мягкая волна братниной крови, и он, прислонившись к дереву, заиграл церковный хорал – чтобы обе пары глаз легче оторвались от уходящего прочь и чтобы их грусть рассеялась; ведь Вальт очень высоко оценил свойственный обеим женщинам непреклонный, четкий абрис души.

Жаль, что сам нотариус – который вместе с сивкой летел по-над лугами, меж сверкающих зеленью холмов, в голубую тихую даль – не знал, что тем временем, далеко позади, брат наполняет его родное сельцо и растроганные сердца дорогих ему женщин отголосками музыки. Оказавшись на вершине какой-то горы, Вальт наклонился над шеей летучего коня, чтобы вытащить у него из уха пулю. Едва он ее извлек: как животное опять перешло на степенный шаг, свойственный человеку, идущему за гробом; и только склон горы будто сам передвинул его вниз, на равнине же конь стал перемещаться совсем незаметно для глаза – как серебряная гладкая река.

Теперь возвращенный в состояние покоя нотариус смог вполне насладиться и своим сидячим – всадническим – образом жизни, и простором поющего дня. Возвышенное место пребывания – на седельной сторожевой башне – впервые позволило ему, этому вечному пешеходу, увидеть внизу, под собой, все горы и пойменные луга, и он почувствовал себя властелином этой сверкающей местности. Впереди, на новую возвышенность, поднималась череда возов с семьей возчиками, которых Вальт бы охотно догнал и перегнал, чтобы они, оглядываясь назад, не мешали ему грезить; да только у подножия того холма оседланный им светлогривый конь тоже, как и всадник, захотел насладиться природой – которая для него состояла из травы – и окончательно остановился. Вальт, правда, поначалу пытался изо всех сил этому воспротивиться и хлопал коня со всех сторон, как спереди, так и сзади; но поскольку сивый жеребец все-таки настоял на стоянии, молодой человек позволил ему безмятежно щипать травку, а сам устроился в седле задом наперед, чтобы обводить блаженным взглядом оставшийся позади просторный природный ландшафт и заодно дожидаться момента, когда эти семь насмешливых возчиков так далеко уедут вперед, что ему уже не придется ехать за ними под устремленными на него любопытствующими взглядами.

Но всему в конце концов наступает конец – и вот уже наш наездник, снова развернувшись в седле, от всего сердца пожелал себе тронуться с места и подняться по склону: ведь семь Плеяд наверняка давно спустились с холма. И еще он заметил, что сзади приближается пешком симпатичный студент, который был свидетелем того, как он садился на лошадь. Однако если кто и придавал особое значение празднику урожая, то это был бледный жеребец: у подножия холма, то есть в Восходящем узле, он занял позицию Хвост Дракона – и ни натягивание уздечки, ни пинки не могли заставить его двинуться вперед. А поскольку нотариус теперь уже не хотел амальгамировать коня, этот живой ртутный шарик, с фиксированным белым Меркурием пули – из-за невыразимых трудностей, связанных с извлечением последней из лошадиного уха, – он предпочел спрыгнуть с седла и стать тягловым животным для собственной лошади: Вальт буквально втащил ее на холм, используя в качестве подъемного механизма уздечку. Но на вершине холма уже пышным цветом расцвели новые неприятности: позади себя нотариус увидел длинную вереницу католических паломников; а прямо перед ним, внизу, в удлиненной деревне, наслаждалась выпивкой Злая семерка возчиков, которую ему явно предстояло догнать, хотел он того или нет.

Для него, правда, забрезжила надежда, но она оказалась бесплодной: нотариус намеревался, заставив лошадку двигаться в темпе *allegro ma non troppo*, значительно опередить возчиков, надолго засевших в трактире; он, повеселев, спустился с горы и въехал в деревню достаточно бодрой рысью; однако там благочестивый конь, не слушая никаких возражений, сразу повернул в сторону знакомого приюта: этого трактирщика сивка хорошо знал, и вообще каждый кабак в округе был для него дочерней церковью, а каждый постоялый двор – материнской. «Ладно, пусть, – вздохнул нотариус, – поначалу у меня самого мелькнула такая мысль»; и он неопределенно попросил первого подвернувшегося человека, чтобы клячу накормили. Теперь к Вальту приблизился и проворный студент в зеленой шляпе. Это был Вульт, чье сердце буквально закипело от любви, когда он увидел, как его разгоряченный брат-красавец обмахивает шляпой снежно-белый выпуклый лоб, как на утреннем ветерке братнины локоны овевают нежное, залитое розоватым румянцем детское лицо, и как глаза Вальта с любовью и без претензий смотрят на всех людей, даже на Семеричное созвездие возчиков. И все же Вульт не удержался от насмешки над лошадыю.

– Этот конь-доходяга, – сказал он, сверкнув карими глазами на брата и потрепав гриву лошади, – бегаёт куда лучше, чем выглядит: словно жеребец муз промчался он по деревне.

– Ах, бедное животное! – посочувствовал коню Вальт и тем полностью обезоружил Вульт.

Все проезжие гости, завернувшие в трактир, пили вино под открытым небом – паломники с пением проходили через деревню – все живые твари, в деревне и в воздухе, ржали, мычали и каркали от радости – освежающий норд-ост шевелил листья фруктового сада и нашептывал всем здоровым сердцам: «Туда, дальше, за деревню, на просторы жизни!»

– Прямо-таки божественный день, – сказал Вальт. – Вы уж простите мою назойливость, сударь!

Вальт ошеломленно взглянул на говорящего и все же горячо поддержал его:

– О, конечно, сударь! Вся природа, можно сказать, поет одну радостную, освежающую сердца охотничью песню, но и с синего неба тоже изливаются вниз мягкие звуки альпийских рогов.

У возчиков, слышавших такой обмен репликами, отвисли челюсти. Вальт быстро расплатился, сдачу не взял, а кое-как взгромоздился на лошадь, желая полететь впереди всех. Но у лошадей есть один основополагающий принцип: они, подобно планетам, движутся быстро только когда приближаются к Солнцу, то бишь к постоялому двору; потом же, удаляясь от него к *афелию*, существенно замедляют ход; поэтому бледный конь крепко укоренился всеми четырьмя конечностями – как нюрнбергская игрушечная лошадка штифтами – в лакированной дощечке-земле и упорно не хотел покидать эту якорную стоянку. Уздечка, пусть за нее и дергали, была для коня лишь якорным канатом – внешнее по отношению к нему движение, сколь угодно бурное, никак не могло привести в движение его самого, – так что легкий всадник в зелено-атласном жилете и буро-огнистой шляпе напрасно щелкал кнутиком: с тем же успехом он мог бы покрыть седлом вершину горы и потом попытаться ее пришпорить.

Некоторые (самые мягкосердечные) зрители принялись похлопывать коня-квиегиста по задним ногам; и сивка действительно начал переступать этими ногами – не двигая передними. Вальт долго выслушивал выражения соболезнавания в связи с поведением его лошади; наконец, пресытившись ими, решительно засунул металлический шарик в ухо своему траурному коню – и действительно получилось так, что миниатюрный бильярдный шар смог вытолкнуть коня, вытолкнуть этот массивный кий, в зеленое бильярдное поле. Вальт полетел. Он быстро, с присвистом, настиг куриную вереницу паломников, которые все испуганно бросились врассыпную – кроме, увы, шествующей впереди глухой запевалы, которая не услышала ни стука копыт, ни предостерегающего свиста; напрасно обмякшие от смертельного страха пальцы всадника ковырялись в лошадином ухе, желая стать извлекателями пули, – летящая коленная чашечка врезалась в старушечью лопатку, повергнув на землю ее обладательницу; та, правда, тотчас вскочила на ноги, чтобы вовремя, при поддержке своих единоверцев, выпустить вслед Вальту залп совершенно неопишуемых проклятий. Только когда проклятия остались далеко позади, Вальт после долгого баллотажа наконец извлек из конского уха, зажав двумя пальцами, свой единственный счастливый-несчастливый шар – и горячо поклялся, что никогда больше не станет применять этот рог Оберона.

Теперь, когда он стал обращаться со сволочной лошадейю как с гармоникой, то есть перешел на медленный темп (так что, если ехать в таком темпе до города, времени вполне хватило бы, чтобы положенный срок отсидел в этом седле даже самый закоренелый должник, включая и государство, если бы для последнего могла существовать иная тюремная башня, кроме Вавилонской), – теперь Вальт чувствовал бы себя вполне хорошо, если бы случайно не обернулся и не увидел, какой шлейф тянется за ним, принявшим облик *statua equestris* и – *curulis*; а увидел он, что его азартно преследует целое воинство, на повозках и в пешем строю: изрыгающие проклятия паломники, семь белых мудрецов, насмешничающих во всю мочь, и знакомый ему студент. Человеческий разум – явно очень ненадежный инструмент, ведь иначе во всем, что он планирует, важную роль играло бы предчувствие из прежних времен: что собственное прошлое, которое за ним гонится, не только принудит его совершить переход через Красное море, но и само море тоже стронется с места – потому что разум хоть и восседает на живом

передвижном троне, ничего этого избежать не сумеет. Уже одна мысль о громогласных преследователях наверняка, подобно навязчивой барабанной дробь, заглушала те прекраснейшие тихие звуки, которые фантазия Вальта – в такой безоблачно-синий день – легко могла бы подслушать у небесных сфер.

Поэтому Вальт свернул с проселочной дороги и через луга направился к овчарне, где он, отчасти проявив равнодушие к тому, как смехотворно выглядит, отчасти же покраснев, потому что все-таки ценил собственную репутацию, упросил работавших там девушек – соблазнив их деньгами, добрыми словами и красотой своих глаз, – чтобы они угощали его сивку сеном (ибо сам он ничего не смыслит в конской диете) так долго, пока враги не опередят его в пути на целый час и ему не станет с математической точностью очевидно, что он уже никогда не нагонит их, даже если они застрянут на два часа в каком-нибудь трактире.

Теперь, *по-новому* счастливый и избавленный от всех бед, нотариус уселся позади дома под черно-зеленой липой, в бодрящей зиме отбрасываемой деревом тени, и тихо погрузил свой взгляд в сверкание зеленых гор, в ночь эфирной глубины и в снег серебряных облаков. По давней привычке он вскарабкался на садовую ограду будущего и заглянул сверху в свой райский сад: какие же пышные пунцовые цветы и какая выюга белых соцветий наполняли этот райский сад!

Наконец – после одного или двух вознесений на небо – он сочинил три длиннотишия: одно о смерти, одно о детском бале и еще одно – о подсолнухе и ночной фиалке. Собравшись – поскольку конь уже насытился сеном – расстаться наконец с дарующей прохладу липой, Вальт принял решение: что сегодня больше далеко не поедет, а остановится в так называемом трактире «У трактира», не доезжая мили до города. Между тем в этом самом заведении остановились около часу дня все его враги; и Вальт тоже дожидался там брата: потому что знал, что ни проселочная дорога, ни бледный жеребец, ни брат никак не смогут разминуться с трактором. Ждать Вальту пришлось очень долго, и он поневоле сосредоточивал мысли на ближайших предметах: например, думал о хозяине трактира, гернгутере, который на вывеске своего заведения велел нарисовать, опять-таки, вывеску трактира, на которой тоже нарисована такая же вывеска, а на той маленькой вывеске нарисована еще меньшая; такова нынешняя философия юмора: если юмор философии, похожий на нее, превращает Я-субъекта в объект и наоборот, то она тоже суб-объективно дает отразиться его идеям; например, я приобрел бы репутацию глубокомысленного и весомого человека, если бы сказал: «Я рецензирую рецензию одной рецензии о рецензировании рецензирования», или: «Я рефлексирую о рефлексии по поводу рефлексирования некоей рефлексии по поводу щетки». Действительно – очень весомые фразы, в которых отражения могут повторяться до бесконечности и которые обладают глубиной, доступной далеко не каждому; может быть, только тот, кто способен выстроить цепочку из нескольких одинаковых *отглагольных существительных* (образованных от любого глагола) – которые все стояли бы в *родительном надежде*, – вправе сказать о себе, что он занимается философией.

Наконец, около шести часов пополудни Вальт, выглянув из своей комнатки, услышал, как трактирщик сверху, из чердачного окошка, гаркнул: «Эй, патрон, убирайтесь-ка вы оттуда! – Во имя кукушки, когда вы приструните свою клячу?!» – Трактир стоял на поросшем березами холме. Готвальд по оплошности свернул с дороги и заехал на гернгутерское кладбище, где теперь его сивка обедала стручки из-за штaketника, в то время как поэтический взгляд самого всадника блуждал по далеким нездешним садам, щедро засеянными не цветами, но самими садовниками. Хотя органиста, произведшего столь грубый педальный тон, из-за берез невозможно было разглядеть – и вообще существам чувствительным после услышанной грубости трудно сосредоточить внимание на том, кто ее произнес, – конь тотчас выпростал морду-хоботок из штaketника и вскоре уже стоял, со стручками в повлажневших зубах, под дверью трактирной конюшни. Хозяину, теперь грозно стоящему на пороге трактира, Вальт, обнажив

голову, задал вопрос издали – подъехать ближе у него никак не получалось, – прямо от двери конюшни: может ли он заночевать *здесь*, вместе с лошадей.

При этих словах целое светлое небо, полное звезд, вспыхнуло в груди у Вульта и снова погасло.

Трактирщик тоже внезапно преобразился, став звездно-солнечным: разве могло бы ему еще недавно прийти в голову – а если б пришло, он говорил бы со своего чердака повежливее, – что путник на лошади, находясь так близко от города и так далеко от ночной поры, окажет ему честь, попросив о пристанище? – А когда хозяин заметил, что путник, спускаясь с клячи, описал в воздухе правой ногой странный многоугольник или треугольник, что он устало поплелся в дом, влача за собой свое натуральное сиденье и даже не оглянувшись на собственного коня и конюшню: с этого момента старый шельма уже отлично знал, с кем имеет дело; и он засмеялся над гостем, пусть и не губами, а только глазами: удивляясь, что тот считает его порядочным человеком и вообще полагает возможным, что овес, за который придется заплатить завтра, его сивке действительно дадут – еще сегодня.

– Теперь, – метафорически выразился Вульт, спускаясь с колотящимся сердцем по лестнице, навстречу брату, – начнется совершенно новая глава.

И она в любом случае должна начаться, даже если забыть о метафорах.

№ 13. Берлинский мрамор с блестящими пятнами Путаница и узнавание

Внизу, в корреляционном зале или симультанной горнице для гостей, нотариус, как все путешественники-новички, сказал, что хочет *быстро* получить чего-нибудь выпить, а еще – комнату на одного человека и такой же ужин: чтобы хозяин не подумал, будто гость не принесет ему сколько-нибудь значимого дохода. Тут к нему подошел улыбающийся Вульт – очень доверительно, с манерами светского человека – и выразил радость по поводу того, что им предстоит провести ночь в одном трактире.

– Если... ваш жеребец продается, – сказал он, – то я хотел бы купить его по поручению третьего лица: ему нужен охотничий конь; ибо я думаю, что это животное прекрасно умеет стоять на месте.

– Это не моя лошадь, – возразил Вальт.

– Жрет она, однако, за троих, – встрял хозяин, после чего попросил Вальта последовать за ним в отведенную ему комнату.

Когда трактирщик отворил дверь, оказалось, что стена, обращенная в сторону заката, не только совсем уничтожена (она лежала этажом ниже, на земле, в виде обломков), но и удвоена: рядом с ней внизу уже лежала новая – в виде кирпичей и известки.

– Никакой другой, – невозмутимо объяснил гернгутер, когда гость, слегка удивившись, устремил взгляд широко раскрывшихся глаз сквозь окно из воздуха шириной в семь шагов, – никакой другой свободной комнаты во всем доме нет, и сейчас ведь лето.

– Хорошо, – решительно сказал Вальт и попытался проявить твердость: – Но вы хоть метлу принесите!

Трактирщик безропотно и послушно стал спускаться по лестнице.

– Наш хозяин самый настоящий *filou*, не правда ли? – сказал Вульт, входя в комнату.

– В сущности, сударь, – радостно отозвался Вальт, – мне так даже больше нравится. Какая великолепная длинная река, состоящая из пашен и деревушек, забрасывает сюда свои блики, увлекая мой взор вдаль; а вечернее солнце, вечерняя заря и луна будут целиком и полностью в моем распоряжении: я смогу наслаждаться ими, даже лежа в кровати, всю ночь!

Такое согласие с собственной судьбой и с порядками, заведенными в трактире, происходило не только из врожденной мягкости Вальта, который повсюду замечал только красиво расписанную, лицевую сторону людей и жизни, а не пустую изнанку, но и от того божественного восторга, того опьянения, с каким некоторые юноши – особенно поэты, прежде никогда не бывавшие в путешествиях, – завершают сверкающий грезами и новыми местностями путевой день; в глазах таких юношей прозаические поля жизни, словно подлинные поля в Италии, обрамлены поэтическим миртом, а на голых тополях для них вырастают виноградные гроздья.

Вульт похвалил собеседника за то, что тот – как он только что видел, – ловко, словно серна, перепрыгивает через бездны, переносясь с одной горной вершины на другую.

– Человек, – откликнулся Вальт, – должен нести жизнь на руке, как пылкого сокола; должен уметь отпускать этого сокола в эфир, а потом, когда нужно, звать обратно; так я думаю.

– Марс, Сатурн, Луна и бесчисленные кометы, – ответил Вульт, – как известно, очень мешают движению Земли; но тот Земной шар, что находится внутри нас и удачно именуется сердцем, не должен – дьявол меня заберит! – отклоняться от своей орбиты под воздействием какого бы то ни было чуждого ему движущегося мира, разве что воздействовать на него будет мудрая Паллада – или щедрая Церера – или красавица Венера, которая, будучи Геспером и Люцифером, изящно соединяет жителей Земли с живым *Меркурием*. Если вы позволите, сударь, мы сегодня соединим наши трапезы; и я поужинаю с вами здесь, перед брешью, где четвертинка луны, возможно, будет плавать в нашем супе, а вечерняя заря – золотить жаркое.

Вальт радостно согласился. Ведь люди во время путешествий охотнее заводят романтические знакомства по вечерам, чем утром. Кроме того, Вальт, как все юноши, мечтал завести много знакомств, особенно с благородными господами, к каковым он причислял и этого забавного чудака в зеленой дорожной шляпе – явной антагонистке епископского головного убора, который только внутри зелен, а снаружи черен.

Тут появился трактирщик с метлой, чтобы вымести из комнаты строительный мусор; в левой руке он держал широкую, обрамленную деревом шиферную табличку. Он заявил, что гости должны написать свои имена: потому что в этой местности дело обстояло так же, как в Готе, где каждый сельский трактирщик обязан относить в город, к властям, шиферную табличку с именами всех тех, кто накануне остановился у него на ночлег.

– Знаем мы вас, трактирщиков! – сказал Вульт, выхватывая табличку. – Вам самим так же любопытно узнать, что за птица ваш гость, как и любому правящему дому в Германии, который вечером требует со всех входящих расписку о прохождении через ворота и о намерении провести ночь в замке, потому что не знает лучшего *Index Aetorum*, чем этот.

Вульт с помощью прикрепленного цепочкой к табличке шиферного грифеля, шифером по шиферу (ведь наше фихтеанское «я» есть одновременно и пишущий, и бумага, и перо, и чернила, и буквы, и читатель), написал свое имя так: «Петер Готвальд Харниш, публично принесший клятву нотариуса и протоколист, следует в Хаслау». Затем табличку взял Вальт: чтобы, в качестве нотариуса, допросить себя самого и занести свое имя и прочие данные в протокол.

С удивлением он увидел, что уже занесен на табличку, и поднял глаза сперва на зеленую шляпу, потом на хозяина, который стоял в позе ожидания до тех пор, пока Вульт, взяв табличку, не протянул ее трактирщику со словами: «Позже, друг мой! – *ce nest quin petit tour que je joue a notre hote*». Говорил он так быстро, что Вальт не понял ни слова и потому поспешил ответить: «*Oui*». Но сквозь окутавшую его дымку смущения пробивались искры ликования: всё, как он думал, обещало ему одно из прекраснейших приключений; ведь Вальт был в такой мере переполнен ожиданием совершенно романтических природных игр судьбы, поразительных морских чудес на суше, что даже не удивился бы (при всем уважении, которое он, кабинетный ученый и сын шультгейса, питал к представителям высших сословий), если бы ему на шею вдруг бросилась какая-нибудь княжеская дочка, или на его голову свалился бы княжеский головной убор ее отца. Мы столь мало знаем, как люди бодрствуют, еще меньше – как они грезят; нам неведомы их величайшие страхи, не говоря уже о величайших надеждах. Для Вальта шиферная табличка стала картой движения комет, предсказавшей ему бог весть какую новую пламенно-хвостатую звезду, которая должна промчатся сквозь небо его монотонной повседневности.

– Пусть господин трактирщик, – радостно сказал Вульт (на которого присвоенная им главенствующая роль производила столь же благотворное воздействие, что и присутствие мягкосердечного, лишенного гордости брата), – приготовит нам здесь обильный ужин и принесет две-три бутылки настоящего и лучшего розового вина, какое найдется в погребе.

Вальту он предложил прогуляться по соседнему гернгутерскому кладбищу, пока комнату приберут.

– Я только прежде поднимусь наверх, – прибавил он, – возьму свою *flauto traverso* и потом немного поиграю на ней под лучами вечернего солнца над мертвыми гернгутерами; – вы любите флейту?

– О, как вы добры к незнакомому человеку! – ответил Вальт, и глаза его наполнились любовью: потому что, несмотря на озорной блеск в глазах и иронический изгиб губ, весь облик флейтиста возвещал о сокрытых в нем верности, способности к любви и порядочности. – Конечно, я люблю флейту, – продолжил Вальт, – люблю эту волшебную палочку, которая преобразует внутренний мир, прикасаясь к нему; эту рудоискательную лозу, распахивающую внутренние глубины.

– Подлинная лунная ось внутренней Луны, – согласился Вульт.

– Ах, но она дорога мне еще и по другой причине, – вздохнул Вальт и рассказал, как из-за нее потерял, или уступил ей, любимого брата и какую боль испытывают до сих пор он сам и его родители, ибо гораздо легче знать, что твой родственник лежит в могиле, чем в каждый радостный час задавать себе вопрос: с каким темным, холодным часом вынужден сейчас бороться беглец, уцепившись за доску, швыряемую волнами мирового океана?

– Но ведь ваш господин брат, поскольку является человеком с музыкальным весом, вполне может плавать в роскоши, а не в мировом океане, – сказал он сам.

– Я имел в виду, – пояснил Вальт, – что мы прежде предавались таким печальным мыслям, а теперь уже нет; и никакое это не чудо, если каждая флейта принималась за колокольчик немого; если казалось, что затерявшийся в ночи брат играет на флейте, потому что не может говорить с нами напрямую.

Тут Вульт невольно схватил его за руку, но тотчас отпустил, сказав:

– Довольно! Десятки разных вещей сейчас слишком сильно волнуют меня: о Боже, весь ландшафт полнится ароматами и золотом!

Но теперь его разгоревшееся сердце уже не в силах было даже на полчаса отодвигать в будущее братский поцелуй: так сильно доверчивая, простая братнина душа сегодня и еще вчера разожгла в его груди (из которой путевые ветры давно выдували один уголек любви за другим) новый костер с языками братского пламени, которые вздымались свободно и высоко, без малейших препятствий. Притихнув, шли они красивым вечером. Когда они отперли Богу делянку, она пламенно плавала в жаркой глазури вечернего солнца. Пройди Вульт хоть десять миль в поисках красивого постамента для скульптурной группы, изображающей момент взаимного узнавания братьев-близнецов, он едва ли нашел бы что-то лучшее, нежели этот гернгутерский сад мертвецов с его плоскими клумбами, засеянными садовниками из Америки, Азии и Барби, которые все рифмовались друг с другом посредством красивой, *концевой* – по отношению к жизни – *рифмы*: «возвратился». Как красиво здесь костяк смерти был облачен юной плотью, а последний бледный сон прикрыт цветами и листьями! Вокруг каждой тихой клумбы, с ее сердцем-семенем, жили верные деревья, и юный лик всей живой природы был обращен сюда.

Вульт, теперь вдруг посерьезневший, радовался, что ему, судя по всему, не придется играть на флейте перед знатоком, – ведь в его груди, не привыкшей к таким потрясениям, сегодня не хватило бы дыхания для изошренной игры. Он встал подальше от брата, лицом к лишенному лучей вечернему солнцу, спиной к вишневному дереву, с которого – будто собственные цветы – свисала, в качестве нагрудного и шейного украшения, цветущая жимолость; и принялся играть вместо труднейших пассажей только простые ариозо с отголосками – о которых мог думать, что они проникнут даже в неподготовленные уши юриста, не утратив при этом ни блеска, ни способности дарить радость.

Так и получилось. Всё медленнее шагал Готвальт с длинной вишневой веткой в руке между утренней и вечерней землей – то в горку, то под горку. Счастливым, как еще никогда в своей скудной жизни, чувствовал себя он, когда шел по направлению к кокетливо-розовому солнцу и смотрел вдаль, поверх широко раскинувшейся золотистозеленой земли с островерхими башенками среди плодовых деревьев, – или заглядывал в ровно лежащий на плоскости белый материнский приют спящих немых колонистов в этом саду; и особенно – когда вдруг казалось, будто теплые ветерки мелодий, налетая порывами, перелистывают и приводят в движение ароматный ландшафт. Если он потом обращал окрашенный закатом взгляд к восточному горизонту и смотрел на равнину, полную зеленых холмов с их подъемами и спусками, напоминающих сельские дома и ротонды, видел лиственные леса на дальних горах и небо в прогибах их извилистого контура: то ему представлялось, что звуки доносятся именно оттуда, с красных вершин; и эти звуки дрожали в позлащенных птицах, порхающих вокруг, словно цветные снежинки Авроры; и пробудили в одном угрюмо дремлющем утреннем облаке живые

вспышки восходящих молний. От далекой грозы Вальт в конце концов отвернулся, вновь обратив взор к многоцветной солнечной земле: ветерок с востока принес с собой звуки – подплыл с ними к солнцу – на цветущем вечернем облаке маленькое Эхо, милое дитя, теперь тихо им подпевало. – Между облаком и Вальтом порхали песни жаворонков, ничему не мешая. – Теперь вдруг вспыхнула и дрогнула всем нежным абрисом фруктовая аллея, просвеченная и гигантски расширенная вечерней зарей, – тяжело и сонно скользило солнце по собственному морю, в конце концов стянутому его вниз – золотой священный нимб еще тлел в опустевшей синеве – и парящие отзвуки погibli, соприкоснувшись с этим сиянием: тут-то Вульт, с флейтой у губ, обернулся к брату и увидел, как тот стоит за его спиной, осененный пурпурными крыльями вечерней зари, растроганный испытанным восторгом, с робкими тихими слезами в синеве глаз. – Святая музыка открывает людям то прошлое и будущее, какое им не суждено пережить. У самого флейтиста грудь тоже бурно вздымалась от неукротимой любви. Вальт приписал это воздействию звуков, но все равно порывисто и с самой чистой любовью пожал руку творца. Вульт пристально посмотрел на него, будто хотел о чем-то спросить.

– Я думаю, помимо музыки, и о брате, – сказал Вальт. – Как же мне сейчас не грезить о нем?

Тут Вульт, потрянув головой, отбросил флейту – схватил Вальта за плечи – притянул к себе, поскольку хотел обнять – горящим взором глянул в его славное лицо и спросил:

– Готвальт, разве ты не узнаешь меня? Я ведь и есть твой брат.

– Ты? О небо! – Ты и есть мой брат Вульт? – воскликнул Вальт, припадая к его груди.

Они долго плакали. На утреннем горизонте мягко погромыхивало.

– Слушай нашего доброго Всеблагого! – сказал Вальт.

Вульт ему не ответил. Без дальнейших слов оба, рука об руку, побрели к кладбищенской калитке.

№ 14. Модель акушерского кресла Проект эфирной мельницы. – Волшебный вечер

За двух легкомысленных комедиантов, декламирующих друг другу реплики Ореста и Пилада, принял бы этих двоих каждый, кто наблюдал за ними из окна трактира: как они ходят кругами по скошенному лугу, с длинными ветками в руках, и обмениваются рассказами о своем прошлом. Но такой обмен был весьма затруднен. Флейтист уверял, что его роман путешествия (хоть и построен так искусно, что разыгрывается на всем пространстве Европы – хоть в ткань его очень мило вплетены самые редкостные исповеди – хоть он всякий раз заново переносится в более возвышенные сферы благодаря такой виндладе и такому подъемному механизму, как поперечная флейта) был бы, пожалуй, подходящим материалом и удачной находкой для авторов «Магдебургских центурий», если бы те пожелали его записать, но никак не для него, Вульта, и, главное, не сейчас, когда он должен говорить столько всего другого и, прежде всего, задавать вопросы – прежде всего о жизни брата. Желание Вульта максимально сжать свой рассказ было, возможно, отчасти продиктовано мыслью, что в его истории имеются главы, которые никак не усилят – в столь неискушенной, чистой душе Вальта – ту сердечную склонность, коей невинный, радостно смотрящий на него молодой человек отвечает на его симпатию; по себе же Вульт замечал – поскольку именно в путешествиях человек утрачивает ощущение стыда, – что он уже почти дома.

Жизненный роман Вальта, напротив, быстро скукожился бы, превратившись в университетский роман, действие которого разворачивается дома, в кресле, и сводится к тому, что герой читает романы, все же его *Acta eruditorum* ограничиваются походами в аудиторию и возвращениями в собственное жилище на пятом этаже, – если бы не новость с завещанием ван дер Кабеля; однако благодаря этой новости как сам нотариус, так и его история сразу обрели большую значимость.

Вальт хотел изумить брата таким известием; но тот заверил его, что уже всё знает: вчера, дескать, он сам наблюдал за экзаменом, сидя на яблоне, под перекрестным огнем сердитых реплик.

У нотариуса от стыда запылали щеки: ведь Вульт, выходит, слышал и каскады извергаемого им гнева, и его стихи; он смущенно спросил брата, не приехал ли тот еще раньше, с господином ван дер Харнишем, который потом говорил о нем с кандидатом Шомакером.

– Ну конечно, – сказал Вульт, – ведь я и есть этот благородный господин собственной персоной.

Вальт, не переставая удивляться, спросил, кто же в таком случае посвятил его в дворянское звание.

– Я сам и посвятил, действуя от имени императора, – ответил тот, – как если бы на мгновение стал саксонским имперским викарием нашего доброго государя; правда, и дворянство мое всего лишь викариатское.

Вальт неодобрительно покачал головой.

– И даже не такое, – сказал Вульт. – Я просто сделал нечто вполне дозволенное в духе Виарды⁴, который говорит, что можно, не задумываясь, ставить частицу «фон» либо перед названием места, откуда человек происходит, либо перед именем его отца; я мог бы с тем же успехом назвать себя господином фон Эльтерляйн, а не господином фон Харниш. Если же кто-то назовет меня «милостивым государем», я просто буду знать, что имею дело с жителем Вены,

⁴ Виарда, *О немецких именах и фамилиях*, с. 216–221. –Примеч. Жан-Поля.

где так обращаются к любому *джентльмену* из бюргерского сословия, – и охотно позволю своему собеседнику это невинное удовольствие.

– Но как же ты мог вчера такое выдержать? – спросил Вальт. – Как мог ты видеть родителей, слышать, как матушка за ужином горюет о твоей судьбе, и не слезть с дерева, не кинуться в дом, не прикинуться к ее опечаленному сердцу?

– Так долго я на дереве не сидел, Вальт (ответствовал тот, внезапно подскочив к брату и оказавшись лицом к лицу с ним). Взгляни на меня! Какими люди возвращаются домой из своих горестных и почетных странствий по Европе – какими дряхлыми, потертыми, потрепанными, словно боевые знамена, – об этом тебе можно не рассказывать, учитывая, сколько книжек ты прочитал; не знаю, стоит ли привести тебе в пример одного из знаменосцев такого рода, – с которым ты лично не знаком, но который происходит из старинного графского рода и замыкает собой череду фамильных портретов в качестве хогартовского хвостового этюда и финальной черты; так вот, представь себе этого графа, который сейчас живет в Лондоне, но в поисках работы нуждается так же мало, как если бы он восстал из мертвых и должен был бы собирать по частям свое тело, как собирают ингредиенты для парижского завтрака, то бишь из доброй половины стран Старого Света: потому что его кудри остались на дорогах, ведущих в Вену; его голос – в римских консерваториях, его первый нос – в Неаполе, где даже многие статуи уже успели обзавестись вторыми носами; его *anus cerebri* (это «вместилище памяти», согласно Хобокену), шишковидное тело и многое другое пострадали, потому что он предпочитал смерть жизни. – Короче говоря, этот бедолага (запутавший нить моего повествования) ничего не находит в окружающей его кладбищенской пустоте, кроме того, из чего теперь состоит он сам, как и все прочие трупы на кладбище Невинных в Париже, то есть жира. – А теперь посмотри на меня и на цветение моей юности – на мужскую стать – на обретенный в путешествиях загар – на пламенеющие глаза – на полноту моей жизни: чего мне не хватает? Того же, чего и тебе: средств, на которые можно существовать. Дело в том, нотариус, что я нынче не при деньгах.

– Что ж, тем лучше, – ответил Вальт так равнодушно, как если бы хорошо представлял себе устройство водочерпального колеса всех виртуозов, которое постоянно пытается то наполнять, то опустошать себя, но функционирует, собственно, только когда ему удастся и то, и другое. – У меня тоже нет денег, зато нас обоих ожидает наследство.

Он хотел добавить еще какие-то слова, проникнутые такой же щедростью, однако Вульф перебил его:

– Я хотел лишь дать понять тебе, друг, что до скончания веков не решусь предстать перед матушкой в роли блудного сына – а уж перед отцом тем более! – А вот с длинным золотым слитком в руках я бы с радостью переступил порог нашего дома! – Клянусь Богом, я часто хотел сделать родителям подарок – однажды даже поехал в дилижансе срочной почты, чтобы скорее вручить им значительную игровую сумму («игровую» не в том смысле, что я ее заработал игрой на флейте, а в том, что выиграл в карты) вместе с собственной моей персоной; к сожалению, именно из-за погони за срочностью я израсходовал эту сумму сам и мне пришлось с полдороги вернуться, не солоно хлебавши.

Верь, добрый брат, тому, что я сейчас скажу. Как бы часто я, после того случая, ни свистел на флейте, заработанные деньги тоже тотчас куда-то усвистывали.

– Опять ты о деньгах! – возмутился Вальт. – Родителям дорог их ребенок, а не подарки от него; как же ты мог уйти, оставив нашу любимую матушку в состоянии гложащей тревоги, от которой теперь избавил меня?

– Ну хорошо! – ответил Вульф. – Родителям мог бы написать какой-то достойный доверия человек, из Амстердама или Гааги, да хоть бы и господин ван дер Харниш: что у их бесценного сына, которого он лично знает и высоко ценит, дела идут отлично, что он теперь располагает необходимыми средствами и тысячами надежд на будущее, пока не осуществившимися. Да что там! Я мог бы и сам поскакать в Эльтерляйн, рассказать историю Вульфа, клятвенно подтвердив

ее достоверность, и показать его поддельные письма ко мне – к тому же и вправду написанные моей рукой; но всё это возможно только с отцом; матушка, думаю, меня бы узнала или я сам не выдержал бы, растрогался, потому что по-детски люблю ее! – Как я мог уйти, говоришь? Но я ведь теперь останусь с тобой, брат!

Для нотариуса эти слова были как музыка, которая в день рождения вдруг раздается из потаенного места. Он всё не мог нарадоваться и не переставал хвалить брата. Вульт же открыл ему, почему остается: во-первых, и прежде всего, чтобы, сохраняя благородное инкогнито, помочь Вальту – этой наивной певчей птичке, которая лучше умеет летать в поднебесье, нежели ковыряться в земле, – справиться с семью мошенниками; ибо, как уже было сказано, он не очень верит, что Вальт способен самостоятельно одержать над ними победу.

– Ты, конечно, – ответил смущенный Вальт, – человек светский, повидавший много стран, и я бы лишь показал, что слишком мало читал и мало чего видел, если бы не понял этого; но все-таки я надеюсь, что если все время буду помнить о родителях, которые так долго вели горькую жизнь, прикованные к сумрачной галере долгов, и если приложу все силы, чтобы исполнить условия завещания, – я все-таки надеюсь, что добьюсь наступления того часа, когда оковы спадут с них, когда они высадятся на зеленый берег Сахарного острова и когда все мы, теперь свободные, обнимемся под высокими небесами. До сих пор я как раз тревожился за самих этих бедных наследников, когда представлял себя на их месте, ибо из-за меня они лишились всего; и успокаивала меня только мысль, что, даже вздумай я отказаться от наследства, им оно все равно не достанется и что мои родители гораздо беднее, чем они, и ближе мне.

– Вторая причина, – продолжал Вульт, – по которой я остаюсь в Хаслау, не имеет с первой ничего общего, а связана с божественной ветряной мельницей, перегоняющей голубой эфир, с помощью которой мы оба – хотя ты будешь заниматься получением наследства – сможем намолотить себе столько хлебной муки, сколько нам нужно. Не думаю, что для нас двоих можно найти еще что-то, в такой же степени приятное и полезное, как эта эфирная мельница, которую я собираюсь спроектировать: ни мельницы для начесывания шерсти, используемые в текстильном производстве, ни бернские ткацкие станки мельничного типа для изготовления лент, ни *molae asinariae*, то есть ослиные мельницы древних римлян, не идут ни в какое сравнение с моей.

Вальт очень заинтересовался услышанным и попросил разъяснений.

– Все расскажу наверху, за стаканчиком розового, – сказал Вульт.

Они поспешно поднялись на холм, к трактиру. Внутри за столом, который предназначался для конюхов, пажей и лакеев, уже всю работу делали челюсти. Кувшин вина стоял на стуле, на свежем воздухе. Белая скатерть, которой покрыли стол к их запоздалому ужину, сверкала из лишенной одной стены комнаты. Вульт начал с того, что описанию модели будущей эфирной мельницы предпослал похвалу вчерашним длинностишиям Вальта: он выразил удивление, что Вальт, при таком изобилии переливающихся через край жизненных забот, все же обретает в поэзии тот покой, благодаря коему поэт уподобляется соревнующимся баварским крестьянкам, что бегают наперегонки, удерживая на голове ведро с водой – для поэта это вода Гиппокренны, – и не должны расплескать ни капли; Вульт поинтересовался, как это брат, будучи юристом, умудрился получить поэтическую выучку.

Нотариус с удовольствием отпил вина и сказал, от радости засомневавшись в себе: мол, если в нем и в самом деле есть что-то от поэта, пусть даже лишь пух одного поэтического крыла, то объясняется это тем, что в пору своего пребывания в Лейпциге он в каждый час, свободный от занятий юриспруденцией, пытался взобраться на высокий Олимп Муз, божественное прибежище сердца, – хотя пока никто его усилий не оценил, кроме Гольдины и кандидата Шомакера. – Однако, дорогой Вульт, не надо со мной шутить. Матушка называла тебя шутником еще в детские годы. Неужели ты хвалишь мои стихи всерьез?

– Пусть я сломаю шею, мой дорогой канцелярист, – ответил Вульт, – если не восхищаюсь тобой и твоими стихами всей артистической душой. Но послушай, что я скажу дальше!

– Ах, почему мне так незаслуженно везет? – перебил его Вальт и выпил вина. – Вчера я встретил Платона, сегодня тебя; два счастливых выигрыша подряд – это уж слишком для моей суеверной натуры.

Расхаживая взад и вперед по комнате, он всякий раз пытался улыбнуться хозяйскому малышу, который внизу, во дворе, со страхом поднимал глаза от картофельных семенных ягод, – чтобы тот не пугался.

Вульт, не ответив ему, начал описывать свою модель мельницы; совершенно не тревожась, как все путешественники, о том, что случайно поблизости может оказаться и пятое ухо:

– Дорогой мой брат и близнец! Есть некая разновидность немцев. Для них пишут другие немцы. Первые немцы не вполне понимают написанное, но любят это рецензировать – особенно то, что доставляет наивысшее наслаждение. Они хотят под линии поэтической красоты подложить разлинованный лист; кроме того, по их мнению, автор, помимо занятий творчеством, должен исполнять какую-то общественно полезную должность – что так же плохо, как если бы будущая мать помимо беременности подхватила оспу. Искусство для них одновременно и путь, и цель. Но ведь, как пишет Лайтфрут, на территорию иудейского храма человеку не позволялось ступать только ради того, чтобы пройти через нее в другое место; так же запрещено и простое прохождение через храм Муз. Человек не вправе подниматься на Парнас лишь для того, чтобы по другому склону спуститься в плодородную долину. – Проклятье! Лучше я начну по-другому! не сердись на меня! Пей вино! – Сейчас:

Вальт!

Дело в том, что я, пока путешествовал с флейтой, отдал в печать одно сатирическое сочинение, свою рукопись, – и оно вышло под названием «Гренландские процессы» в двух томах, в 1783 году, в берлинском издательстве «Фосс и сыновья». («Я просто поражен!» – почтительно сказал Вальт.) Правда, я бы без всяких оснований солгал тебе, если бы стал утверждать, что обнаружение этих томов привлекло хоть какое-то внимание ко мне или к затронутым там проблемам. За исключением шести или семи извергов, которые являются одновременно разбойниками и живодерами (а двое из них пишут для «Всеобщей немецкой библиотеки» и, значит, могут представлять собой одно лицо), ни одна душа, к сожалению, не критиковала мое сочинение и даже не удосужилась ознакомиться с ним. Сейчас не время – из-за твоего нетерпеливого желания услышать обещанный рассказ об эфирной мельнице – разбирать, *почему*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.